

Анна Павлова

## Можно ли судить о культуре народа по данным его языка?

### Мысль и язык: свобода или детерминизм?

У немецкого глагола *nippen* есть точный русский эквивалент *пригубить*. Но предложение *Er nippte an seinem Kaffee* с помощью этого эквивалента не перевести, поскольку глагол *пригубить* имеет ущербную грамматическую парадигму: он обозначает только однократное действие. Если бы речь шла о вине, можно было бы сказать *потягивал (вино)*. Но кофе *потягивать* нельзя, потому что *потягивать* можно только холодный напиток. Поэтому допустимо лишь *Он пил кофе маленькими глотками*. Однословная лексема переводится словосочетанием. Но и такой перевод возможен только в некотором количестве контекстов, а в ином специфическом текстовом окружении от него придется отказаться, например: *Er lacht noch häufiger, als er an seiner Kaffeetasse nippt* (Stern). — \*Он смеется еще чаще, чем пьет кофе маленькими глотками. В русском предложении, казалось бы, нет прямых нарушений языковой нормы, тем не менее оно производит впечатление странного, ненормативного или по крайней мере непривычного. Напрашивается подозрение, что сочинил его человек, не являющийся носителем русского языка. Совсем иное впечатление произведет перевод *Смеется он чаще, чем вспоминает про свой остывающий кофе*. Такой перевод — это уже перефразирование в угоду привычности, узусу.

Так же не удастся с легкостью перевести короткое предложение *Wie ein Wurm nagte das Elend in meinem Herzen* (Н. Heine). Если бы Гейне использовал настоящее время, то перевод не составил бы труда: *Несчастье* (или *недуг*) *гложет мое сердце* *как червь*. Но нужно сохранить в переводе прошедшее время, а у глагола *глотать* в этом значении формы прошедшего времени нет. Поэтому словарная пара соответствий *nagen* — *глотать* для перевода оказывается неприемлемой и переводчику приходится выходить из положения, отказываясь от эквивалентности в пользу грамматической нормы, например: *Несчастье снесало мое сердце*. Образ червя, засевающего в сердце, потерян.

Никто не станет утверждать, что немецкое прилагательное *neugierig* не имеет эквивалента в русском языке. Он есть и абсолютно точен по объему сем: *любопытный*. Но фразу *Sie war neugierig alles zu erfahren* перевести с помощью прилагательного *любопытный* невозможно из-за рамок, налагаемых грамматической нормой (\**Она была любопытная обо всем узнать*). Приходится что-то придумывать, например: *Ей было интересно обо всем узнать*; *Ей очень хотелось узнать обо всем, что с ним за это время произошло*, — или изобретать еще какой-нибудь вариант, о котором нельзя будет утверждать, что он синтаксически и лексически эквивалентен оригиналу. Причина лакунарности в тексте при отсутствии лакунарности на уровне словаря — диктат грамматической нормы в языке перевода.

Мы наблюдаем чрезвычайно распространенную в практике перевода ситуацию: переводческой лакуны теоретически нет, но она в то же время реально есть. Это не парадокс: переводятся не словарные статьи, а тексты, и не лексические значения слов, а их смыслы. При переводе приходится учитывать не только семантический аспект, но и множество других, обусловленных чисто текстовыми факторами.

В принципе в текстах любое слово может обернуться переводческой лакуной, поскольку любое слово потенциально многозначно и может быть употреблено в необычном, не зафиксированном в словаре значении. У человеческого сознания есть свойство распространять и переносить то или иное качество одного предмета на другой, который обнаруживает сходное качество и с ним ассоциируется. Следовательно, вести разговор о переводимости того или иного слова вне его употребления в речи не имеет смысла. На это можно возразить: ведь существуют типовые и окказиональные случаи, и существуют сравнительно не зависимые от контекста значения многозначного слова и контекстуально связанные значения.

Это не отменяет принципиальной «текстовости» переводческих лакун. Так, слово *зануда*, предположим, имеет обширное

семантическое описание (многосемную структуру) и может рассматриваться как контекстуально независимое, самостоятельное, семантически полноценное слово русского языка. Однако в контексте *\*Ну что ты за зануда!* его нежелательно употреблять из фонетических соображений: два *за*, следующих друг за другом, плохо воспринимаются на слух. Следовательно, если бы мы переводили с немецкого на русский какой-нибудь текст вроде *Bist du aber ein Nörgler!* — мы столкнулись бы с ситуацией лакуарности, и никакой словарь нам бы при этом не помог. Но если бы мы и не переводили, а просто захотели сказать кому-нибудь, кто нам надоел своим занудством, *\*Ну что ты за зануда!* — мы бы тоже не стали этого делать по той же, именно фонетической, причине. Перед нами лакуна как переводческая, так и внутриязыковая — чисто текстовая, речевая. Конечно, эта ситуация легко разрешима, нужно только поменять конструкцию на синонимическую: *Какой же ты все-таки зануда!* Нет содержания, которое нельзя было бы выразить несколькими различными способами.

Правомочно ли вообще рассматривать такие случаи как переводческие лакуны? И чем они отличаются от внутриязыковых лакун? По-видимому, только тем, что, когда мы не занимаемся переводом, мы их просто не замечаем. Нам не мешает необходимость формулировок *Он пил кофе маленькими глотками* или *Ей очень хотелось узнать, что произошло*, но лишь потому, что мы не имеем в это время внешнего материала для сравнения. В действительности и здесь есть материал для сравнения, но мы настолько к нему привыкли, что просто не отдаем себе отчета в том, что занимаемся мысленным перебором и отбором. Можно ведь сказать и *Ей не терпелось узнать, что произошло*, и *Ей страх как любопытно было узнать...* и *Она просто умирала от любопытства, желая узнать...* Варианты не только существуют всегда, они — и это принципиально важно — существуют реально в сознании каждого говорящего. Вариативность формы, в которую отливается мысль, — имманентное свойство речевой деятельности.

Когда я смотрю на предмет, который украшает камин, тянется по всему его периметру, расположен над устьем камина и на котором стоят безделушки, я, предположим, не помню, как этот предмет называется: то ли *каминный карниз*, то ли *каминная доска*, то ли *каминный бордюр*. Я могу себе представить этот предмет и тогда, когда его нет в моем поле зрения, могу представить его не как нечто конкретное, а как нечто обобщенно-абстрактное, обладающее некоторыми наиболее характерными свойствами этого класса предметов. И все равно я не буду помнить или знать точно, как его назвать. Образ предмета в сознании существует, а точного слова для его обозначения

в сознании нет. Зато есть набор близких по значению слов, каждое из которых в принципе годилось бы для наименования. Предположим, я решаюсь выбрать одно из них и говорю: *Доска, каминная доска*. Меня поняли. Но если я сказала бы: *Каминный бордюр или как там эта штука называется*, — меня бы тоже, скорее всего, поняли. Языковые знаки не мешают мыслить: доска это или бордюр — не очень существенно. Не было бы обозначения *этой штуки* в русском языке — тоже не страшно. Ведь нет же в этом языке еще десятков тысяч других слов, которые могли бы в нем быть. Например, в русском языке нет отдельных слов для обозначения действий *кататься на велосипеде, ходить пешком, разговаривать по телефону, отдыхать с палаткой, плавать на байдарке*. А действия есть, и понятия о них есть, и в практической жизни эти действия распространены чрезвычайно широко.

Можно сказать по-русски *удешевлять* (делать дешевле), но нельзя *\*удорожать* (делать дороже). Тем не менее есть экономические факторы, способствующие дороговизне, они вызывают рост цен. Более того, рост цен для современной России — явление более распространенное, чем их падение. Глагола нет, а понятие есть, и оно с легкостью формулируется. Каким образом отсутствие слова может помешать категоризации, концептуализации, описанию явления? Когда предмет имеется в реальности, то он мыслится, а когда он мыслится, то он и описывается тем или иным способом. И пока не заходит речь о сравнении с другим языком, никто и не заметит пробела в собственном.

Готовые формулировки другого языка — это всегда материал для сравнения, а свободная речь вне перевода — это всегда выбор из множества возможностей. Если в русском нет формы *\*пиша* (при наличии, например, *читая*), мы обходимся без нее и почти не замечаем неудобства. Деятельность переводчика и деятельность, которая осуществляется при формулировке мысли вне ситуации перевода, различаются в значительно меньшей степени, чем принято считать. У того и другого процесса есть стадии зарождения интенции, осмысления, вычленения смыслового инварианта, перебора возможностей для его фиксации средствами языка и окончательного отбора (принятия решения). Смысл предшествует языковому оформлению и не подчиняется ему. Если человек владеет тремя языками, его возможности выразить то, что он хочет выразить, возрастают втрое, при этом ни один из языков не навязывает ему способ мировидения. Языковые формы служат для окончательной отливки мысли, причем свобода мышления индивида выражается в том, что он может не только варьировать и смешивать языки, которыми владеет, но и бесконечно переносить

свойства одного предмета на другой (метафорика) или создавать новые слова посредством продуктивных словообразовательных моделей. Например, почти в каждом немецком газетном или журнальном тексте попадаются своеобразные авторские неологизмы (окказионализмы) — сложные слова, которых нет в словарях.

Конечно, свобода здесь не абсолютна: выражающему свои мысли индивиду всегда приходится ориентироваться на окружение, поскольку или коль скоро он хочет быть понятым. Поэтому свобода его ограничена когнитивными возможностями реципиентов.

То, что смысловой инвариант предшествует речевому оформлению, достаточно наглядно видно по плохим переводам, которые возникают, когда переводчик понял смысл исходного текста, но не довел до конца шлифовку транслята, так что его фразы или части фраз не соответствуют стилистической или грамматической норме ПЯ (переводящего языка). Например: «Тут из дома вышел мужчина, спросил меня, к кому я хочу»; «Там всегда <...> стоял один и тот же запах какого-то моющего средства, перемешиваемый иногда запахами капусты или бобов»; «У меня тогда было такое чувство, будто мы в последний раз сидим сообща за круглым столом <...>, будто мы в последний раз говорим друг с другом так близко»<sup>1</sup>. Перед нами ненормативный, «шероховатый» текст, в котором, однако, выражены смыслы текста оригинала. Очевидно, что переводчик не сумел подыскать нормативные варианты речевых формулировок и воспользовался первыми словосочетаниями, которые пришли ему в голову. Но писал он тем не менее по-русски, и что он хотел выразить, вполне понятно.

Закономерно возникает вопрос, в каком виде смысл может возникнуть в сознании вне языковой фиксации. На этот счет можно только строить догадки. Одна из наиболее убедительных гипотез о смысле и внутренней речи была сформулирована Н.И. Жинкиным (предметно-изобразительный код языка внутренней речи) [Жинкин 1964].

Возможно, смысл, как плод, созревает и вызревает в сознании постепенно, проходя несколько различных этапов становления. Пройдя (или, возможно, миновав) стадию предметно-изобразительного и универсального кодирования, смысл может перейти к стадии «полуоформленного» языкового кода. Например, помнишь, что для того слова, которое ищешь, требуется приставка «не-» и какой-то корень вроде... — и дальше

<sup>1</sup> См. роман «Чтец» Б. Шлинка в переводе А. Тарасова: <<http://lib.ru/INPROZ/SHLINK/vorleser.txt>>.

начинается перебор: *не-проницаемый, не-пробиваемый, не-...* нет, все не то. Наконец, вспоминаешь: *не-уязвимый*. Смысл, который требовалось выразить, мерещился в сознании до окончательного вербального оформления в виде набора возможностей, так или иначе ассоциируемых с искомым вариантом. Это состояние поиска нужного слова знакомо каждому. Человек ищет требуемую единицу кодирования в хранимых в памяти лексических и морфологических парадигмах, перебирая некоторые варианты. Но он ищет, уже представляя себе, что хочет найти. Интенция и начальный, недооформленный смысл уже присутствуют в сознании. Язык оказывается рамкой, ограничением свободы выбора и поиска лишь на последнем этапе вербализации смысла. Конечно, этот процесс поиска и перебора совершается обычно столь стремительно, что мы его не замечаем. Наше внимание фиксируется лишь на тех случаях, когда нужный способ выразить смысл не сразу приходит в голову. Для переводчика это состояние — норма. Ему постоянно приходится подыскивать, перебирать, отбрасывать и снова искать в памяти наиболее подходящий способ выразить тот смысл, который он хочет выразить. Этот смысловой инвариант предшествует языковой форме и не регулируется ею.

### **Языковая картина мира и речевая деятельность**

Принципиальная возможность переформулировать любую мысль, выбрать для нее подходящую форму из целого набора вариантов, включая и те, которые не зафиксированы словарями, делает рассуждения о статичной, данной человеку при рождении «языковой картине мира» умозрительно-идеологическими построениями. Мы знаем, что то или иное растение именуется *злак* или *сорняк* не потому, что это различие подсказывает нам язык, а потому, что нам в детстве объяснили родители или кто-то другой, что вот это растение — полезное (потому-то и потому-то), а вот это — вредное. Кроме того, вредное на одном поле оказывается вовсе не вредным на другом. И если в языке нет слова для обозначения полезной травы, то можно обойтись и без него, а именно с помощью словосочетаний *полезное растение* или *лекарственная трава*.

Согласно метафорике, закрепленной в русском лексиконе, любовь живет в сердце, а сердце уходит от страха в пятки. Возможно, в другом языке любовь живет в печени, а от страха сердце или иной орган уходит в колени. Эти «фрагменты языковых картин мира», как принято называть в современном российском языковедении подобные системы метафор, настолько же свидетельствуют о различии в мышлении целых народов, насколько и не свидетельствуют. Система метафор

позволяет заключить, что в языке есть система метафор. «Убежденность» носителей русского языка в том, что любовь живет в сердце, потому что такова их «наивная картина мира», не более чем фикция. Употребление устоявшихся, привычных, стершихся и расхожих метафор — не языковая картина мира, а привычное словоупотребление.

Метафорика превращает любой язык в принципиально изменчивую систему. Лексикон не статичен, а динамичен: он открыт для постоянных изменений. Его изменчивость — имманентное свойство языка. Каждое слово потенциально многозначно, даже те слова, которые, согласно толковым словарям, не характеризуются полисемией. Например, такое однозначное — если верить толковому словарю — слово, как *карандаш*. Карандашом в принципе можно назвать любой вытянутый заостренный сверху предмет, напоминающий карандаш по форме, или любой пишущий предмет вообще. Не стоит абсолютизировать лексическую систему и только ее относить к языковой компетенции. Не следует ее ограничивать привычными, наиболее устоявшимися, многократно повторяющимися в речи знаками. Лексическая система подвижна и переменчива. Только в словарях она предстает как статичная данность. Да и то до той поры, пока мы не начинаем сравнивать различные словари.

Многозначность слов языка яснее всего проявляется в поэзии, но и проза пестрит примерами неологизмов, окказиональных метафор, неожиданных словоупотреблений: «Сын почтенного дурака-профессора и чиновничьей дочери, он вырос в чудных буржуазных условиях, между *храмообразным буфетом* и *спицами спящих* книг» (В. Набоков); «Под падающим и задерживающимся на земле снегом скрыта черная *скользота*» (Ю. Олеша); «Я так и видела его солидное, мучнистое, *картофельное лицо*, *просторные уши*, зачес поперек плечи» (И. Грекова).

Способность переносить любое свойство одного предмета на другой (метафоризация) — это имманентное и универсальное свойство человеческого сознания. Принципиальная открытость любой языковой системы через ее реализацию в речи — еще одна причина, по которой бессмысленно говорить о «языковой картине мира», воплощаемой в «национальном языке». Эта «языковая картина» столь размыта, туманна и неопределенна, что вряд ли стоит о ней вообще говорить. Эта картина не более чем мираж. Язык находится в движении постоянно, независимо от того, осознаем мы это или нет. Некоторое время внутренние, скрытые изменения языка не проявляются в его системе и рассматриваются как окказиональные, как ошибки, небрежность, намеренное коверканье, словотворчество, поэтизмы, нарушающие норму странности. Но наступает момент,



когда накопленное количество переходит в новое качество и вчерашний язык перестает быть языком сегодняшним. Русский язык, каким он был двадцать лет тому назад, — это не нынешний русский язык. Изменились значения множества слов. Например, возникли новые значения у глаголов *расстрелять*, *засудить*, *презентовать*, *озвучить*, *рекламировать*, у прилагательных *жесткий*, *нелицеприятный*, у существительных *перезагрузка*, *пацан*, *браток*, *разборки*, *откаты*. Возникла масса новых слов и исчезла масса прежних. В настоящее время у людей разных поколений практически разные языки. Иногда им требуется переводчик, чтобы понять друг друга. Какой смысл говорить о языковой картине мира, если вчера она была одна, а завтра другая и если она не совпадает у различных социальных групп?

Отсутствие специальных знаков не мешает мыслить. Оно не мешает и формулировать. Но есть две сферы человеческой деятельности, которым оно иногда мешает, — это восприятие речи реципиентом (адресатом) и освоение мира ребенком. Скажем, 30 слов в лексиконе Элочки-людоедки вряд ли не позволяли ей помыслить что-либо разнообразное, что она передавала с помощью однообразных, вечно повторяющихся формул. Но вот слушателям ее это не могло не мешать, поскольку понимание и расшифровка затруднены. И детям Элочки тоже пришлось бы трудно: уж слишком мало было бы у них обозначений для многообразных явлений материальной и духовной жизни, о многом они не сумели бы узнать.

Поэтому в рассуждениях о языке и мышлении необходимо различать речевую деятельность как порождение речи и речевую деятельность как восприятие речи. Для восприятия речи форма важна, в первую очередь — в сфере накопления знаний и в сфере эмоционального воздействия на адресата; для порождения речи значимость формы минимальна.

### **Соотношение языка и культуры**

Является ли язык показателем культуры? В языке, несомненно, фиксируются какие-то стереотипные представления, речевые штампы, общие и понятные для многих или для всех представителей населения определенной страны или региона. Эти люди отчасти объединены посредством языка. Но сколько в языках различных индивидуумов совпадений, а сколько расхождений? И что именно в языке индивидуума можно рассматривать как знаки или сигналы национальной культуры, а что таковым не является? Ведь язык вбирает в себя далеко не только культурно маркированные знаки, но и огромное число других: в нем соседствуют исторические наслоения, заимствования из



других языков и знаки других культур. По речи можно отчасти судить о культуре говорящего — его образовании, социальном статусе, месте проживания, воспитании, темпераменте. Но даже множество регулярно повторяемых в различных речевых актах слов, конструкций и формулировок (их частотность) не дает возможности рассуждать о культуре народа в целом.

Вспомним недавнее прошлое. В рамках русской культуры в составе СССР существовало несколько культурных сообществ, члены которых были объединены относительной общностью взглядов, привычек, традиций, стереотипных представлений, образа жизни: номенклатура, КГБ (тесно связанный с номенклатурой), госслужащие, военные, рабочие, колхозники, интеллигенция. В русском языке того времени бытовали речевые штампы (идеологемы): *пятилетка в четыре года, встречный план, с огоньком, трудовой почин, коллективизм, чувство локтя, товарищеский суд, по-стахановски, с боевым задором, социалистическая сознательность, отрывки капитализма, родимые пятна капитализма, буржуазная философия* и многие другие. Эти штампы не выражали культуру ни одной из перечисленных здесь групп и подгрупп. Это были штампы, которыми активно пользовалась партийная верхушка в рамках официального дискурса. Но эти идеологемы не являлись выражением истинных взглядов даже этой партийной верхушки. Они не выражали равным счетом ничьих взглядов. Это был некий птичий язык, которым пользовались в обществе для сокрытия истины, поскольку общество целиком было построено на сокрытии истины: оно только этим сокрытием и держалось. Ни в одной из групп — внутри группы — этими штампами в обиходной речи никто не пользовался. Ни в одной семье, к какой бы группе она ни принадлежала, муж не говорил жене: «У нас вчера ребята снова поработали по-стахановски, с огоньком, выполнили встречный план с опережением графика; это наш достойный ответ Западу ко Дню солидарности трудящихся!» Так говорили только некоторые герои некоторых литературных произведений — у тех писателей, которые хотели кормиться в спецраспределителях и отдыхать в номенклатурных санаториях.

Если же рассматривать язык как источник культуры, то можно прийти к прямо противоположным выводам: раз в советское время говорили о трудовой вахте и о сообразностях по перевыполнению пятилетнего плана — значит, так думали (считали) — значит, такова и была тогда русская культура. Это неверная последовательность выводов, и она не имеет отношения к реальности. Языки (идиолекты) у перечисленных социальных групп были в чем-то схожи, а в чем-то различны, и вопрос о том, чего в них было больше — сходства или различий — однозначного ответа не имеет.

В те времена чрезвычайно важно было разговаривать так, чтобы быстро находить среди окружающих людей себе подобных, потому что взаимопонимание возможно было только в той же социальной группе, а общение с другими группами было небезопасно. Поэтому отбор слов и интонаций был исключительно значим. Нынче ситуация изменилась: теперь даже некоторые филологи и многие журналисты разговаривают и пишут в полублатном стиле. Это не зазорно и не характеризует пишущего как представителя той или иной социальной группы. Речевые стили и регистры перемешались. Зато социальная стратификация, наоборот, усилилась, групп стало значительно больше. При этом речевые характеристики перестали быть столь значимы и социально нагружены — возможно, потому, что отпала прямая опасность попасть на заметку спецслужб из-за того, что ты «чуждый элемент». Нынешнее смешение речевых стилей — разговорного, просторечного, бранного, блатного, публицистического и литературного — в самых разных видах дискурса при углублении социальной разобщенности лишний раз говорит о том, что язык и культура пересекаются лишь отчасти и не выводимы один из другого. Точнее, индивидуальный язык является точкой пересечения множества культур, поскольку любой индивидуум — член огромного числа социальных групп.

В настоящее время социальное расслоение российского населения значительно глубже и серьезнее, чем это было во времена советской власти. И в этой связи неизбежно возникает вопрос о единстве национальной культуры. Мало того, что языки разных социальных групп не совпадают — не совпадают и их культуры, причем различия между культурами проходят по другим границам, чем различия между социальными идиолектами. Различны культуры не только профессиональных групп (журналистов и врачей, филологов и моряков, юристов и шахтеров). Различны культуры молодежных групп и пенсионеров, причем среди пенсионеров и молодежных групп требуется дальнейшая стратификация в зависимости от доходов, образования, политических убеждений, религиозности и пр. Ясно, что у людей с миллионными счетами в швейцарских банках и у людей с зарплатой в семь тысяч рублей ценностная шкала и мироощущение существенно различаются. Различны культуры либералов и коммунистов, а среди либералов различаются группы, считающие, например, что с властями следует сотрудничать, и группы, которые категорически против подобного сотрудничества. У всех этих групп разные культуры.

Далее, культуры различных социальных групп до революции, после революции, в сталинскую и брежневскую эпохи, в постсоветскую эпоху — это разные культуры. И социальный состав

населения в последние два десятилетия резко поменялся, и ценностные шкалы и стереотипы переменялись радикальным образом.

Существует ли вообще единая русская культура? Не миф ли она? Рассмотрим только нынешнее десятилетие. Можно, вероятно, насчитать некоторое количество общих для всех социальных групп обычаев и стереотипов: например, не принято дарить на праздники четное количество цветов. День во многих семьях принято завершать чаепитием. Не принято здороваться за руку или целовать друг друга «через порог». На пожелание «Ни пуха ни пера!» полагается ответить «К черту!».

Можно перечислить и целый ряд авто- и гетеростереотипов (самооценок и оценок других народов), которые разделяются многими людьми независимо от их социального положения. Однако со стереотипами нужно обращаться крайне осторожно: они разделяются далеко не всеми, далеко не в равной мере и потому вряд ли могут служить признаком общей культуры. Можно причислить к культуре общую историю и классическую литературу. Но ведь отношение в различных группах населения и к истории, и к литературе вовсе не совпадает.

В целом общего, что объединяло бы всех или даже большинство граждан России, немного. То же можно утверждать и о любой иной национальной культуре. Нет никаких оснований считать, что черт, объединяющих жителей одной страны, больше, чем черт, объединяющих представителей одной профессии, независимо от места их проживания и языка, на котором они разговаривают. Нет никаких оснований принимать за доказанный факт, что у всех граждан Индии, Китая или Норвегии свойств, позволяющих объединять их в национальные сообщества, больше, чем похожих свойств всех чиновников, врачей или программистов независимо от того, проживают ли они в Индии или в Норвегии. То же касается иных социальных групп. Нет оснований считать, что у людей разных поколений, например у 60-летнего и 20-летнего носителей испанского языка, больше общих взглядов и поведенческих стереотипов, чем у двух 60-летних носителей испанского и болгарского языков. Прежде чем исходить из презумпции «у носителей одного языка общая культура», следовало бы проверить, нет ли причин исходить из презумпции «у всех буддистов мира общая культура» или «у всех скрипачей мира общая культура»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> В этой связи стоит упомянуть статью, в которой повествуется о различиях в шкале ценностей немецких политиков и не-политиков, выявленных по материалам опросов. В той же статье говорится о том, что традиционно приписываемые немцам качества — вежливость, любовь к порядку и пунктуальность — на ценностной шкале опрошенных заняли последние места. См.: «Немцы отказались честнее своих политиков» (Lenta.ru. 2011. 28 июня) <<http://lenta.ru/news/2011/06/28/ehrllichkeit/>>.

Предположим, мы находим общие черты «национальной культуры» (с оговоркой: только в конкретный исторический момент) и приходим к выводу, что русская культура — это не миф, она реально существует, даже будучи выражена очень небольшим набором общих для всех групп населения ценностных доминант, стереотипных представлений, привычек и традиций. Можно ли рассматривать в том же списке признаков общей культуры национальный язык? Выше уже шла речь о том, что единого русского языка не существует (как вообще не существует единых национальных языков). Это просто проверить: можно провести опрос населения. Скажем, спросить тысячу молодых людей в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет, что означают слова *горазд*, *поднатореть*, *радение*, *приспешник*, *соглядатай*, *крючоктвор*, *сквалыга*, *сонм*, *поспешествовать*, *планида*, *фанаберия*, а людей в возрасте от шестидесяти до семидесяти — что означают выражения *нафосное место*, *сливать*, *кошмарить*, *откаты*, *твиттер-президент*, *кастинг*, *таблоид*, *флэшмоб*, *фишка*, *прессовать*, *пилить в особо крупных размерах*. Возможно, некоторые перечисленные лексемы молодым людям известны из классической литературы, а пожилым из прессы, а также из общения в семье, но это не значит, что те и другие употребляют приведенные выражения в собственной речи. Совпадают ли у этих групп активные лексиконы? Ответ достаточно ясен<sup>1</sup>.

Далее, как быть с массами российских эмигрантов, проживающих в разных странах мира? Они говорят по-русски (во всяком случае, в первом поколении), но являются ли они все еще носителями русской культуры — той крошечной части общего, что мы предположительно выявили, не выходя за границы метрополии? На этот вопрос ответа нет вовсе: стратификация эмигрантов такова, что точек пересечения между ними обнаружить почти не удастся. В этой среде расслоение социально обусловленных культур еще выше, чем в России. Степень активного владения русским языком и степень интерференции речи эмигрантов с языками стран проживания также позволяют обрисовать довольно большое количество различных групп. Корреляции между степенью «чистоты» русского языка и такими элементами культуры, как ценностная шкала, стереотипы, убеждения, мораль, начитанность, семейные традиции и пр., отсутствуют.

Казалось бы, все это очевидные вещи. Однако их самоочевидность оказывается под вопросом, когда читаешь, например,

---

<sup>1</sup> В статье В.Д. Черняк «Лакуны в тезаурусе и культурная грамотность» описываются результаты подобного анкетирования и делаются выводы о взаимонепонимании поколений как результате разных культурных кодов [Черняк 2009].

следующие рассуждения: «Язык, мышление и культура взаимосвязаны настолько тесно, что практически составляют единое целое, состоящее из этих трех компонентов, ни один из которых не может функционировать (а следовательно, и существовать) без двух других. Все вместе они соотносятся с реальным миром, противостоят ему, зависят от него, отражают и одновременно формируют его» [Тер-Минасова 2000: 39].

### Причины появления лингвокультурологии

Тезис о нерасторжимости языка и культуры настолько распространен сегодня в сравнительно новой, сложившейся к концу XX в. российской лингвистической дисциплине лингвокультурологии, что представляется сторонникам этого направления столь же очевидным, сколь очевидным представляется отсутствие единства между языком и общенациональной культурой автору настоящей статьи.

Лингвокультурология сложилась и выделилась в отдельную лингвистическую дисциплину на теоретическом основании нестрогой (нежесткой) версии гипотезы лингвистической относительности (гипотезы Сепира-Уорфа): каждый язык навязывает тому или иному народу некоторое количество обязательных представлений о мире («картину мира»), поскольку выйти за границы своего языка при познании природы нельзя. Язык направляет мысль и не только фиксирует, но и определяет (детерминирует) культуру его носителей. Некоторые авторы идут еще дальше: они считают, что язык не только определяет пути познания и формирует культуру, но и предопределяет эмоциональную сферу. Так и пишут: человек испытывает те эмоции, которые ему подсказывает его родной язык<sup>1</sup>. Свободы нет, следовательно, не только в мыслях, но и в чувствах. Всем управляет язык-демиург.

Причин появления лингвокультурологии именно в России и именно в конце XX в.<sup>2</sup> несколько. Основной из них, как представляется, стала политическая ситуация: развал Советского Союза повлек за собой целенаправленный поиск объединяющей «национальной идеи», объявленный Борисом Ельциным еще в 1996 г. Лингвистика активно подключилась к поискам. При разобщенности населения страны легче и проще всего

<sup>1</sup> Например: «В стандартных эмоциональных ситуациях люди данной языковой общности испытывают и выражают принципиально одинаковые эмоции. Каждый индивид, естественно, варьирует проявление типизированной эмоции, подгоняя ее под то или иное слово (знак этой эмоции) в зависимости от своего индивидуального опыта, но редко выходит за грани социального (обобщенного) опыта» [Шаховский 2009: 35]. Эмоции приравниваются здесь к их обозначениям.

<sup>2</sup> Аналогичная дисциплина чуть раньше зародилась и укрепила свои позиции и в Китае, см.: [Schulte 2004].

объединить его при помощи языка, который представляется очевидной скрепляющей компонентой национальной культуры. Вторая, параллельная причина: отказ от марксизма как теоретической базы всех наук при советской власти заставил после падения режима в 1990-е гг. искать другие теоретические основания для дальнейших лингвистических исследований. Гипотеза Сепира-Уорфа пришлось как нельзя более кстати, поскольку позволяла выполнить госзаказ и, будучи изначально сама по себе идеологически и политически нейтральной, питала, тем не менее, националистические настроения в пришедшем в смятение обществе. Помогла и Анна Вежибицкая с ее исследованиями «key words» некоторых культур [Wierzbicka 1998]. Ее открытия вскоре пригодились: их с воодушевлением цитируют авторы книги «Ключевые идеи русской языковой картины мира» [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005].

Наконец, третья причина состоит в том, что, несмотря на все универсалистские устремления, выводимые из марксизма, идея национальной исключительности и восхваления русского языка как особо развитого, богатого, великого и могучего, как языка великой культуры подспудно бытовала в стереотипном наборе представлений самых разных групп населения России еще со времен Ломоносова. Она встречалась в том или ином виде во множестве учебников русского языка, не только школьных, но и университетских. Так что после отказа от универсализма она лишь окрепла и выступила на авансцену как официально дозволенная и давно желанная<sup>1</sup>.

Понятно, что когда объединяющей идеи и объединяющих устремлений и целей у общества нет, то спасительной соломинкой для национальной самоидентификации оказывается национальный язык — тот столп, на котором якобы зиждется единство культуры.

### **Цель и методы лингвокультурологии**

В чем же состоит основная цель лингвокультурологии? Прежде всего лингвокультурология исходит из того, что эпоха универсализма миновала и что в языках пора, наконец, отыскать и описать их специфические черты. Сама по себе задача описания специфических черт языков не вызывает возражений. Практикующим переводчикам хорошо известно, что языки не похожи один на другой и что в них обнаруживается огромное число специфических черт. Некоторые специфические признаки языков действительно можно связать с культурными традициями, историей, стереотипами.

---

<sup>1</sup> Обзор литературы, в которой воздаются хвалы русскому языку, см. в статье: [Павлова, Безродный 2010].

Однако методологически обнаружение абсолютно всех специфических характеристик того или иного языка представляется недостижимой целью. Во-первых, для ее осуществления требовалось бы сравнить не только все языки, но и все диалекты мира друг с другом. Во-вторых, сравнивать пришлось бы не лексиконы и грамматику, а дискурсы — по причине, описанной выше: реальное функционирование языка как средства общения осуществляется только в речи, а в ней лексемы обретают новые смыслы, не описанные и не зафиксированные словарями. В-третьих, в полученных результатах сравнения потребовалось бы отделить окказиональное и индивидуальное от социально значимого и системного. Все это задачи при современном состоянии технических средств и уровне лингвистических методов неосуществимые.

Однако лингвокультурология разработала совсем иную методологию: она объявила, что будет извлекать знания о национальной культуре не из сравнения дискурсов, а непосредственно из национального языка<sup>1</sup>. Ведь именно языковой лексикон содержит «концепты», которые предопределяют мыслительные ходы, систему взглядов и поведения, ценностную шкалу представителей национальной культуры. Причем поскольку, по мнению лингвокультурологов, в языках есть как универсальные, так и лингвоспецифические элементы, а языки и культуры неразрывно связаны между собой, постольку лишь специфические элементы языка дают ключ к пониманию национальной культуры.

Как же находить эти специфические элементы? Вот тут начинается некоторая растерянность. Вроде бы имеет смысл отыскивать их по признаку «непереводимость». Но для этого требовалось бы привлечь для сравнения колоссальное количество других языков, которые исследователям не знакомы. Кроме того, любому лингвисту уже в силу его принадлежности к данной профессиональной группе должно быть известно, что перевод осуществляется не на уровне лексиконов. А сравнивать переводы текстов невозможно уже потому, что переводной материал для сравнения в полном объеме не обеспечить. Следовательно, обнаружение истинно непереводимых единиц языка оборачивается задачей невыполнимой.

Приходится искать другой выход из положения: лингвоспецифическими и непереводимыми объявляются так называемые «ключевые слова» культуры. Как отыскивать ключевые слова? А вот как: «Слова языка могут считаться “ключевыми” для

<sup>1</sup> Здесь и далее в основном будут обсуждаться теоретические положения, изложенные в книгах [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005; Языковая картина мира 2006].



обслуживаемой им культуры, если они дают “ключ” для понимания каких-то существенных ее особенностей» [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: 500]. Трудно подыскать эпитет для характеристики подобного обоснования научного метода. Да и надо ли? Цитата сама себя достаточно характеризует. Одновременно она является ключом к восприятию всей книги и стоящих за ней ключевых идей.

Вот другой образец лингвокультурологической логики и методологии: «Мы выдвигаем следующую гипотезу: языковая картина мира есть форма фиксации национальной культуры» [Маслова 2005: 6]. Здесь автор пользуется метафорическим (не строго терминологическим) словосочетанием «языковая картина мира» и дает ему определение. Одновременно это же определение выступает как гипотеза. Итак, некая метафора М гипотетически является Р. По правилам научных рассуждений, если выдвигается гипотеза, ее нужно каким-то образом доказать. Вместо этого далее следуют такие рассуждения: «Языковая картина мира предшествует концептуальной и формирует ее, потому что человек способен понимать мир и самого себя благодаря языку» [Там же: 7]. В этом месте логика рассуждений меняет свое направление: автор начинает исходить из того, что языковая картина мира — это уже экзистенциально и содержательно доказанная сущность. Доказательства, видимо, подразумеваются или считаются самоочевидными. Но если они самоочевидны, то зачем выдвигать гипотезу? Лучше писать сразу «Всем известно, что...» или «В настоящее время считается доказанным, что...». Именно так большинство лингвокультурологов и поступают.

Однако даже если принять тезис о доказанной сущности «языковой картина мира» (ЯКМ), то содержанием ее, как утверждает автор страницей выше, является «национальная культура». Следовательно, получается, что «национальная культура предшествует концептуальной картине мира, потому что человек способен понимать мир только через свою национальную культуру».

Далее высказывается мысль, что в языковых картинах мира есть как общее, так и национально-специфическое: «Языковая картина мира отчасти универсальна, отчасти национально специфична» [Там же]. Это уже явно противоречит выдвинутой ранее гипотезе о том, что ЯКМ фиксирует национальную культуру — разве что в этом месте логика рассуждений требует признать, что национальная культура вбирает в себя как общее для всех культур, так и национально-специфическое. Но тогда необходимо описать метод разграничения общего и национально-специфического. Вот этот метод:

*Лучше всего культурно-национальная специфичность ЯКМ может быть показана через концепты. Концепты выполняют роль каркасов, определяющих общие принципы построения наших представлений о мире. Рассмотрим это на примере. Вежливость — центральная коммуникативная категория, главная функция которой — обеспечение бесконфликтного общения. Будучи универсальным по сути, данный концепт является национально-типичным по наполнению, т.к. в нем находят отражение культурные ценности, нормы и традиции. В русском языковом сознании вежливость — антипод грубости: вежлив тот, кто не ругается матом, не кричит, не перечит старшим, т.е. тот, кто соблюдает правила приличия, правила этикета. <...> Вежливость в русской культуре нужно исследовать только вместе с искренностью, ибо русские излишнюю, с их точки зрения, вежливость связывают с проявлением неискренности [Маслова 2005: 10].*

### Некоторые вопросы к лингвокультурологии

Итак, «концепты» — это то же, что «ключевые идеи» или «ключевые слова» культуры, причем именно ее национально-специфической ипостаси. Где и как их искать? На этот вопрос ответа нет ни в одной лингвокультурологической работе. Поэтому остаются невыясненными многие обстоятельства. Приведу несколько примеров.

1. Вежливость — это концепт. А болезнь — концепт? А сон — концепт? А прогулка — концепт? А одежда? Хотелось бы получить конкретную рекомендацию, что именно из того, что кажется на первый взгляд концептами, ими действительно является, а что нет.
2. Предположим, мы с моим другом носители русского языка, причем лексиконы наши весьма схожи: мы в основном пользуемся одинаковыми лексемами и синтаксическими конструкциями. Если у нас при этом разные взгляды на вежливость, на дружбу или на свободу, то у нас с ним одна и та же языковая картина мира или разные? А культуры у нас с ним идентичны или различны?
3. Бывает так, что два человека — носители русского языка — по-разному обозначают один и тот же цвет: то, что для одного салатное, для другого бирюзовое или то, что одному кажется бордовым, другой назовет вишневым. Это не значит, что они по-разному воспринимают цвета. Это говорит лишь о том, что они один и тот же цвет по-разному обозначают. Такие несоответствия достаточно распространены. Языковые картины мира этих людей совпадают или различаются?

4. Какой именно русский человек считает вежливостью отсутствие крика и ругани? Кем и как определяется «усредненность» «русского» человека? Я, например, будучи русским человеком и представляя, по-видимому, по крайней мере в некоторых ее чертах, общенациональную русскую культуру (в частности, я не дарю на день рождения четное количество цветов и не протягиваю руку через порог, а также люблю романы Льва Толстого), убеждена, что для того, чтобы считаться вежливым, «не ругаться матом, не кричать и не перечить старшим» явно недостаточно. Кроме того в мой концепт *вежливость* составляющая *искренность* не входит. Означает ли это, что я все-таки не являюсь носителем русской культуры или что я не имею прямого отношения к русской языковой картине мира? Или я всего-навсего не вхожу в «среднее арифметическое»? Однако я знаю еще массу людей, которые, аналогично мне, не считают, что вежливость должна быть сопряжена с искренностью. Мы все не входим в «усредненную» категорию? А как же с такими не входящими в усредненную категорию людьми поступать? Стоит ли упоминать их как исключения, которые подтверждают правило? Или стоит сделать вид, что эти люди вовсе не существуют? Или они все-таки объективно не представляют русскую национальную культуру, субъективно полагая, что представляют?

5. Даже если представить себе, что большая часть россиян независимо от их социального статуса разделяет взгляд на вежливость как на отсутствие ругани и крика, и пренебречь меньшей частью россиян, которые придерживаются иных взглядов (для этого, однако, требуются убедительные статистические данные), остается вопрос: входит ли представление о вежливости как об отсутствии крика в лингвистическое описание понятия *вежливость*. Входит ли вообще понятийность в языковую систему? Понятие (концепт) — это то, что можно определить через бесконечное число суждений (предикаций). Мысль реализуется не в слове, а в предикативном акте. Является ли совокупность суждений о чем-либо частью языковой системы? Традиционно считалось, что в языковую систему входят лексические значения. Понятия — это ментальная категория, которая относится к лексическим значениям как исторически изменчивое и лишь отчасти социально значимое целое к относительно неизменной во времени, стабильной (ядерной, общей) и наиболее социально значимой части. Может быть, совокупность суждений о чем-либо входит в «языковую картину мира»? Или в «языковую картину мира» входят самые частотные, типовые для социума суждения?

6. Предположим, что неперебиваемые слова как-то связаны с национальной культурой. Предположим, что переводческие

лакуны свидетельствуют о том, что для носителей языка перевода (ПЯ) те или иные понятия оказались не так важны, как для носителей языка, с которого осуществляется перевод (ИЯ — исходный язык). Например, представим себе, что для немцев понятие *kiebitzen* (тайком заглядывать в карты другого игрока или просто подглядывать за кем-либо) более актуальное явление, чем для русских (в русском языке здесь лакуна). А являются ли лакуны в языке (вне сравнения с другими языками) показательными для культуры? Например, в русском языке нет глаголов для обозначения действий *собирать букет, делать зарядку* или *бегло просмотреть телевизионные программы, нажимая на кнопку телевизионного пульта*. Означает ли это, что для русской культуры эти понятия не очень важны? И как определить степень важности? Может быть, эти явления в жизни общества редко имеют место или не отражаются сознанием как составляющие повседневной жизни? Свидетельствуют ли такой факт, как отсутствие специальных слов для обозначения любителя кино (при наличии слова для обозначения любителя театра) или любителя живописи (при наличии слова для обозначения любителя музыки), о том, что для русской культуры театр и музыка важнее, чем кино и живопись?

7. Носителем какой национальной культуры является говорящий по-французски швейцарец: он представитель французской культуры или швейцарской? Если швейцарской, то в каком отношении к этой культуре стоит его родной язык? И как его языковая картина мира соотносится с французской национальной культурой?

8. Если извлекать сведения о культуре из языка, то, обнаружив в русском языке обилие уменьшительных суффиксов, можно было бы утверждать, что русские привыкли более экспрессивно выражать свои эмоции, чем те народы, в языках которых не наблюдается такого обилия уменьшительных суффиксов. Известно также, что в баварском и австрийском диалектах немецкого языка значительно больше уменьшительных суффиксов, активно употребляемых в речи, чем в диалектах других регионов Германии. Какие сведения о культуре баварцев или австрийцев можно почерпнуть из этого знания? Будут ли лингвокультурологи утверждать, что баварская культура сходна с российской по степени экспрессивности выражения эмоций?

Это далеко не полный перечень вопросов, которые хотелось бы задать специалистам по лингвокультурологии. Однако похоже, что лингвокультурология не только не отвечает на эти вопросы — она и не собирается на них отвечать. Она и не может на них ответить, даже если бы собиралась. Духовная область, активно разрабатывающая свой понятийный аппарат и пытающаяся

оперировать аргументами и доказательствами, но обладающая при этом столь слабой объяснительной силой, такими размытыми терминами и столь невыраженной методологией, вызывает сомнения в научности ее статуса.

### Неогумбольдтианство и лингвокультурология

Неогумбольдтианству как теоретической основе «нового» лингвистического направления «лингвокультурология» — если считать его рождением публикацию работ Лео Вайсгербера — примерно 80 лет. Но гипотеза лингвистической относительности, или неогумбольдтианство, или гипотеза Сепира-Уорфа, остается и сегодня недоказанной. Состоятельность этой гипотезы пытались доказать исследователи в середине прошлого века. Некоторые эксперименты показывали, что поведение носителей того или иного языка отличается от поведения носителей иного по структуре языка. Эксперименты, проводившиеся другими исследователями, показывали, что корреляции нет [Werlen 2002].

Гипотезу лингвистической относительности пытаются доказать и ныне. Так, Гай Дейчер описывает эксперименты, которые ставили с носителями языков, характеризующихся иными, чем в европейских языках, способами представления событийности, цветовых обозначений или географических направлений, и устанавливает корреляции между поведением и языковым строем. При этом Гай Дейчер не настаивает на том, что языки навязывают носителям определенные способы мировидения, он вполне здраво пишет, что на любом языке люди способны выразить любые смыслы: только благодаря этой способности и удастся рассказать о других языках, в которых имеются иные грамматические категории или иные значения слов. Конкретный язык лишь навязывает необходимость выразить то или иное содержание таким способом, а не другим. «No one (in his or her right mind) would argue nowadays that the structure of a language limits its speakers' understanding to those concepts and distinctions that happen to be already part of the linguistic system. Rather, serious researchers have looked for the consequences of the habitual use from an early age of certain ways of expression» [Deutscher 2011: 155–156]. Дейчер принадлежит, таким образом, к представителям нестрогой версии гипотезы Сепира-Уорфа: по его мнению, национальный язык детерминирует некоторые логические операции, но не препятствует общности восприятия и понимания. Прочитав некоторые положения книг российских лингвокультурологов, он, вероятно, был бы немало изумлен.

В целом представляется, что доказать гипотезу лингвистической относительности так же невозможно, как и опровергнуть, поскольку никто не может сказать с уверенностью, чем именно

определяется поведение носителей того или иного языка: языком или внеязыковой практикой (воспитанием, условиями жизни, привычками).

Обычно в экспериментах сравниваются неблизкородственные языки и поведение их носителей. Но можно было бы ограничиться и только индоевропейскими языками. В них достаточно структурных различий. Немцы, например, иначе «выстраивают» двузначные числительные, чем другие европейские народы: сначала называют единицы, потом десятки. Однако никто не сумел заметить особенностей поведения немцев при оперировании числительными по сравнению с носителями других языков. Известно также, что немецкие рамочные конструкции требуют постановки отделяемых приставок финитных глаголов в конец предложения, а от значения приставки часто полностью зависит смысл. Следовательно, не дослушав до конца предложение, в котором имеется отделяемая приставка, невозможно догадаться, в чем его смысл. Можно было бы предположить, что привыкшие к такой грамматике немцы по сравнению с другими европейцами обладают особо цепкой памятью или повышенным вниманием: они вынуждены концентрироваться, слушая собеседника. Но подобные особенности носителей немецкого языка психологами не зафиксированы. По крайней мере никаких отклонений в поведении немцев по сравнению с другими народами установить не удастся и читать о наблюдениях такого рода мне не доводилось.

Можно, конечно, выстраивать на недоказанных гипотезах целые «научные направления», но их научность будет все снова и снова подвергаться сомнению, что вполне естественно. Б. Рассел сформулировал когда-то требование: доказывать гипотезу должен тот, кто ее выдвигает (или кто с ней согласен и хочет использовать ее в качестве теоретической основы для научных изысканий). Это требование было сформулировано Расселом в виде «анalogии о чайнике» в его статье «Есть ли Бог?»: «Если я предположу, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите летает фарфоровый чайник, никто не сможет опровергнуть мое утверждение, особенно если я предусмотрительно добавлю, что чайник настолько мал, что не виден даже мощнейшими телескопами. Но если бы я затем сказал, что коль мое утверждение не может быть опровергнуто, то недопустимо человеческому разуму в нем сомневаться, мои слова следовало бы с полным на то основанием счесть бессмыслицей» [Russell 1997: 547].

В принципе уже пресуппозиция существования единой вневременной и внеисторической национальной культуры представляется сомнительной (об этом шла речь выше).

Несостоятельной кажется и идея жесткой и нерасторжимой связи между языком и культурой. Вот плод одного из лингвокультурологических исследований: «Англичанин — практик, он всегда руководствуется разумом, а не чувствами. <...> Характер англичанина тесно переплетается с характером моря <...>. Истоки превосходства английской нации над другими, как представляется, следует искать не только в имперском величии царицы колоний (как это принято делать), <...> а в островном положении Великобритании». Чем не алхимия? Над подобными текстами смеются даже студенты-первокурсники: им кажется, что это скверный анекдот или розыгрыш. Между тем статья, которая содержит выводы о характере англичанина, напечатана в солидном научном сборнике [Двинянинова, Мусихина 2006: 38].

Однако чаще всего русские лингвокультурологи озабочены тем, чтобы описывать истоки превосходства не английской нации над другими, а русской нации над другими. Один список ключевых слов в книге «Лингвокультурология» В.В. Воробьева говорит уже сам за себя: тут и красота, и духовность, и всемирная отзывчивость, и соборность, и милосердие [Воробьев 1997]. Каких только необыкновенных качеств некоего усредненного русского человека мы не находим! Недалеко от этого ушел и другой, более подробный список «ключей» русской культуры, который можно обнаружить в книге «Ключевые идеи русской языковой картины мира»: тут и щепетильность, и любовь к справедливости, и жалостливость, и надежда на «авось», и тоска с удалью и широкими / бескрайними просторами, и правда / истина, и свобода / воля, и душа — словом, весь набор авгостереотипов, которые выдаются за ключи к национальной культуре и за «уникальные русские понятия» [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: 31, 54]. Идея национальной исключительности в этой книге выражена в формулировках вроде: «Целый ряд слов отражает пресловутую “задушевность” русского человека» (с. 32); «Русский человек болезненно реагирует, когда ему кажется, что его попрекают» (с. 36); «Сама потребность “русской души” в размахе требует простора» (с. 74); «Склонность к жалости осознается как специфически русская черта» (с. 270); «Для русской культуры вообще характерно пристальное, порой даже преувеличенное внимание к нюансам человеческих отношений» (с. 376); «Особенность русской культуры состоит в том, что в ней существует особое чувство — любовь к справедливости» (с. 370); «Русскому человеку очень естественно среди энергичной деятельности вдруг остановиться и задаться вопросом о ее экзистенциальном смысле» (с. 344); «Родственная теплота служит образцом доброго отношения к людям вообще. Здесь русский язык



подтверждает традиционное представление о широте и щедрости русской души. Более того, он подсказывает человеку готовность обнять родственной любовью весь мир» (с. 246) и т.п.<sup>1</sup>

Книга «Ключевые идеи русской языковой картины мира» — образец подмены научного подхода идеологией. Около сорока раз в кавычках и без кавычек в книге встречаются мифологемы *национальный характер, национальная ментальность, русское видение мира, русское мироощущение* и даже *русская душа* — как синонимы словосочетания *русская языковая картина мира*. В этой работе производится тонкий и подробный семантический анализ русской лексики, сосредоточенной вокруг этностереотипов, но сами этностереотипы предстают не элементами культуры некоторых социальных групп, которые подлежат изучению именно как этностереотипы, а выразителями и репрезентантами общенациональной культуры, якобы единой, вневременной, внеисторической, вечной, неизменной и неизбывной. Лексика, сосредоточенная в семантических полях вокруг этностереотипов, объявляется непере译имой — без малейших попыток изучения переводов реальных текстов, включающих эту лексику, хотя бы на несколько основных европейских языков.

В книгах «Ключевые идеи русской языковой картины мира» и «Языковая картина мира и системная лексикография» научное направление, нацеленное на изучение ЯКМ, не именуется лингвокультурологией. Но сравнение многочисленных работ, в том числе учебников по лингвокультурологии, изучающей «лингвокультуремы» или «концепты», и этнолингвистических книг и статей представителей так называемой Московской семантической школы не позволяет обнаружить существенных теоретических и методологических расхождений. «Лингвокультуремы», «концепты», «культурные концепты» — это те же «ключевые слова языковой картины мира» или «ключевые идеи культуры».

Книга «Ключевые идеи...» и предшествующие ей работы тех же авторов на тему «русской языковой картины мира» явились

<sup>1</sup> Уже при одном прочтении этого списка хочется задать авторам следующий вопрос. Если «русский человек» склонен к «доброму отношению к людям» и готов «обнять родственной любовью весь мир», и если эти свойства «русского человека» отыскиваются непосредственно в русском языке, то почему в этом языке нет эквивалентов для элементарных слов, обозначающих доброе отношение к людям и даже просто самих людей как объектов этого отношения: *hilfreich, hilfsbereit, Mitmensch*? Прилагательные приходится переводить словосочетаниями: кто-либо *всегда готов прийти на помощь, всегда выручит*. А слово *Mitmensch* и вовсе не переводится. Как же так: ключевые идеи есть, а слов для их выражения нет? Не-лингвокультуролог найдет этому простое объяснение: модели словосложения, в которых второй частью сложного слова являются корни *-reich, -bereit*, или словообразование с помощью приставки *mit-* в немецком распространены чрезвычайно широко и являются спецификой немецкого языка.

своего рода сигналом к появлению массы исследований, в том числе диссертационных, покоящихся на теоретической базе мифа. Образно можно сказать, что Московская семантическая школа открыла шлюзы, которые позволили наводнить российский лингвистический мир потоком произведений, посвященных национальному характеру (национальному менталитету) и отысканию его признаков в языке. Вот лишь некоторые названия диссертаций, в которых фигурируют мифологемы: О.А. Корнилов «Языковые картины мира как отражения национальных менталитетов» (М., 2000); В.Н. Мильцин «Языковая репрезентация менталитета французов в содержании преподавания французского языка» (Тамбов, 2002); Е.В. Кухарева «Клише как отражение национального менталитета: На примере арабских паремий» (М., 2005); А.А. Флакман «Немецкий язык как отражение ментальности его носителей» (Новгород, 2005); С.Ш. Схляхова «Концепты “венчание”, “брак”, “семья” как отражение русского менталитета: на материале языка произведений русской литературы» (Краснодар, 2008); Е.В. Слепушкина «Фразеология русского и английского языков в зеркале национального менталитета (на материале концептов “предупреждение” и “угроза”» (Пятигорск, 2009).

Мифологемы получают в лингвокультурологических работах научное обоснование: «Национальный характер формирует типичную модель поведения данного народа, обусловленную единством общественного сознания, общностью системы надличностных коллективных представлений о мире, обществе, личности и нормах поведения каждого человека» [Мишенькина 2006: 6]. В этой сентенции содержится экзистенциальная пресуппозиция наличия единой «модели поведения народа». Вот еще несколько образцов научной деятельности лингвокультурологов, вознаграждаемой присвоением ученой степени.

*Существует мнение, что западное мышление, построенное на аристотелевой логике, является аналитическим, линейным, рациональным, в то время как для восточных культур характерна логика холистическая, ассоциативная, аффективная. В западном мышлении превалирует индуктивное, а в восточном дедуктивное начало <...>. С точки зрения специфики осознания цвета русскими весь окружающий мир воспринимается единым целым, акцентны расставляются с помощью «освещения» или «затемнения» его составляющих. Восприятие мира через английское сознание отличается тем, что приоритет отдается не единому целому, а деталям, из которых этот образ состоит [Там же: 14].*

*Экономность как черта немецкого менталитета проявляется в языковой экономии, которая существует в любом языке, но*

*в немецком она стала нормой. Немецкий язык фузионен, т.е. в нем широко распространено явление синкретизма, которое касается и частей речи, и грамматических категорий [Флакман 2005].*

*Немецкое предложение является воплощением порядка, где информация подается определенным образом, а многие члены предложения занимают строго отведенные им места. Одна из основных черт немецкой ментальности, порядок и стремление к гармонии, реализуются в композиционном построении предложения [Там же].*

*Полученные в настоящем исследовании данные позволяют говорить о том, что квадрат в русской языковой картине мира играет заметно менее существенную роль, по сравнению с кругом. Вклад концепта круг более существен для русской национальной картины мира, в то время как для английской национальной картины мира концепты квадрат и круг одинаково значимы, т.е. по сравнению с англоязычной русскоязычная культура более «круглая», а англоязычная, по сравнению с русскоязычной, более «квадратная» [Гринкевич 2006: 21].*

*В системе мировосприятия русских ключевым понятием можно считать общинность как ценностную ориентацию. В настоящее время в сознании русских противоречиво сочетаются ценности индивидуализма и коллективизма. Хотя исследования места индивидуализма в российской культуре только начали разворачиваться, все же можно констатировать, что индивидуалистические тенденции так и не смогли стать господствующими. Существует мнение, что в рамках русской культуры индивидуализм не может стать доминирующим мировоззрением, поскольку противоречит ее основным принципам, где основным является духовность. В системе мировосприятия русских ключевым понятием можно считать общинность как ценностную ориентацию [Слепушкина 2007: 16].*

Есть исследования, ориентированные на преподавание русского как иностранного. Например, в одной из диссертаций описывается методика обучения финских студентов содержанию концепта *зима*: установлено, что финские студенты «не владеют в достаточной мере семантическим объемом культуромаркированных лексических единиц, репрезентирующих концепт “зима”» [Чоудхури 2011: 20].

Многие авторы подают свои изыскания под модным ныне слоганом межкультурной коммуникации и утверждают, что подобный анализ культурной специфики способствует лучшему взаимопониманию народов. В действительности же эти работы являются не чем иным, как воспеванием и отстаиванием истинности этностереотипов, не способствующих налаживанию

межкультурной коммуникации, а углубляющих недоверие, настороженность, взаимонепонимание, взаимную изоляцию.

### **Имеет ли смысл полемизировать с лингвокультурологией?**

«Лингвокультурология» — эвфемистическое обозначение лингвонационализма. К настоящему времени лингвонационализм является основным направлением российской лексикологии и семантики. Полемика с этой дисциплиной может протекать в двух плоскостях: можно вести полемику «извне», т.е. критиковать методологию и раскрывать идеологическую подоплеку лингвокультурологии в общем виде, а можно попробовать встать на тот же уровень рассуждений, принять методологию хотя бы гипотетически и возражать «изнутри» этой методологии — «от противного».

На обобщающе-историческом уровне природу и сущность лингвонационализма освещают работы: [Gardt 2000; Reichmann 2000; Stukenbrock 2005; Евсеева 2009]. Авторы этих исследований убедительно доказывают, что лингвонационализм — явление, в лингвистике хорошо и давно известное; к нему обращаются как к спасительному средству самоидентификации во времена, когда нация только складывается, или в исторически бурные эпохи, сопровождающиеся переменами в самосознании населения. Нередко потребность в лингвонационализме диктуется чисто государственными интересами. На уровне лингвистического анализа и критики методологии сущность лингвонационализма вскрывается в работах: [Eismann 2002; Keijsper 2004; Schulte 2004; Sériot 2005<sup>1</sup>; Baldauf 2006; Gebert 2006; Weiss 2006; Келли 2007; Zaretsky 2008]. Как видим, список критических работ весьма объемный, и несообразность методов лингвонационализма (как его ни именовать) в этих работах подробно изложена.

Рискнем встать на второй путь: попробуем принять — чисто гипотетически — за истинные утверждения о том, что 1) существует единая национальная культура; 2) существует единый национальный язык; 3) национальная культура так тесно связана с национальным языком, что на основании языкового анализа можно судить о своеобразии национальной культуры; 4) важные черты национальной культуры зафиксированы и отражены в лингвоспецифических чертах национального языка; 5) описание лингвоспецифических черт национального языка является одновременно описанием важных черт национальной культуры.

---

<sup>1</sup> Эта статья опубликована в русском переводе: [Серио 2011].

Что принять категорически невозможно — это критерий поиска ключевых слов или ключевых идей культуры по признаку «это то, что сообщает что-то важное о культуре», поскольку если принять это положение, то придется отказаться от идеи 3 и от идеи 5. Итак, мы принимаем положения 1–5 и не принимаем положение о том, что ключевые слова культуры извлекаются из наших сведений о ней до всякого языкового анализа.

Теперь необходимо определить, каким образом и на каких основаниях мы будем извлекать из анализа языка сведения о культуре. Если полностью принять гипотезу Сепира-Уорфа в ее классическом виде, то вопрос решится легко: все, что есть в языке, отражает культуру. На этом поиски можно завершить: берешь любое слово или выражение — и это уже «ключ» к культуре. Однако мы все-таки будем считать (как это делает большинство современных «умеренных» сторонников гипотезы Сепира-Уорфа), что в языках есть как общие, так и специфические черты, поэтому наша задача — отделить одно от другого, разыскивая только специфические языковые единицы. Как же их разыскивать? Если взять за отправную точку этностереотипы *авось-небось-удаль-молодечество-душа-тоска*, то дальнейший языковой анализ нам уже не потребуется: мы обнаружили лингвоспецифические черты в этностереотипах. Если же не брать за основу этностереотипы, а проанализировать весь языковой материал в ожидании отыскать в нем лингвоспецифические черты, то нам необходимы критерии — в противном случае анализ исключается.

Для анализа мы можем использовать следующие критерии: 1) непереводаемость лексемы на другие языки — это наиболее логичный и элементарный критерий, если целью поиска являются специфические свойства языковых единиц; 2) частотность лексемы сравнительно с частотностью ее эквивалентов в других языках: возможно, что даже при наличии эквивалента языковая специфичность выражается в степени употребительности, распространенности той или иной языковой единицы; 3) разветвленность (глубина) семантического объема значения лексемы (количество сем) по сравнению с семантической глубиной ее эквивалентов в других языках: по этому критерию гипотетически можно определить, действительно ли переводной эквивалент является полным эквивалентом или это лишь частичный эквивалент. Если сопоставлять не отдельные лексемы, а целые семантические поля вокруг какой-либо «ключевой идеи», которую пока только требуется обнаружить, то в рассмотрение входит еще один критерий, а именно 4) длина синонимического ряда: можно предположить, что чем популярнее какая-либо ключевая идея для носителей данного языка, тем больше существует синонимов для ее выражения —

и наоборот: чем больше бытует в языке синонимов для выражения какой-либо идеи, тем более «культурно нагруженной» является данная идея; 5) соотношение между объемом полисемии у слов, которые считаются переводными эквивалентами: известно, что многозначность лексемы часто влияет на ее же отдельные значения и если у переводного эквивалента значений меньше или они совсем иные, то есть вероятность обнаружить в таких ситуациях лингвоспецифичность. Можно было бы продолжить этот список критериев, но ограничимся хотя бы этими пятью.

Все перечисленные критерии требуется применять параллельно, а не иерархически. Применять их необходимо ко всему языковому материалу, а не к его частям. Совершенно очевидно, что для поставленных задач необходимо привлечь для сравнения все существующие в мире языки и диалекты, причем не их словари, а тексты — желательно не только письменные, но и устные, причем тексты одной эпохи, например одного или двух десятилетий (поскольку языки довольно быстро меняются по лексическому составу). При этом требуется знать все сравниваемые языки настолько глубоко, чтобы обладать возможностью свободно судить о том, каков семный состав значения той или иной лексемы, полные перед нами синонимы или нет, реализуется ли значение лексемы в тексте в полном объеме или лишь отчасти и т.д. Мы опять приходим к тому, о чем уже говорилось выше: даже если разработать некоторую шкалу критериев для обнаружения истинной, а не диктуемой этностереотипами лингвоспецифичности, то мы оказываемся перед невыполнимой задачей.

Однако — опять-таки, чисто гипотетически — представим себе, что достаточно сравнения исходного языка всего лишь с одним языком. Поскольку я практически полный билингв и немецкий язык мне так же близок и понятен, как русский, я ограничусь здесь попыткой сравнения современного русского языка с современным немецким. Применю для простоты первый критерий: непереводаемость лексем с русского на немецкий и с немецкого на русский.

### **Классификация переводческих лагун**

Ниже приводится список случаев так называемой переводной лагунарности, т.е. очевидной непереводаемости только в сфере лексики. Граматику оставляем в стороне (например, расхождения в употреблении предлогов, в глагольном управлении, несоответствия в употреблении конъюнктива, модальных глаголов, пассива и пр.).

Часть непереводаемых лексем удается установить уже на уровне языковой системы, т.е. лексикона. Казалось бы, это противоречит сказанному о переводческой практике: переводчики никогда не переводят слова, они переводят только тексты. Однако есть лексемы, которые представляют трудность для перевода в любом тексте. И эти лексемы можно с полным основанием абстрагировать от речи и рассмотреть на словарном уровне. Таких лексем в количественном отношении в сравнении с трудностями перевода на текстовом уровне ничтожно мало. Тем не менее они требуют специального описания.

По критерию «язык — речь» разобьем полученные группы лакун на три класса: лакуны в языке, лакуны в речи и промежуточные случаи. При анализе речи (текстов) оставим в стороне сугубо индивидуальные (чисто окказиональные) словоупотребления и ограничимся лишь типовыми употреблениями.

Здесь же приходится дать несколько дополнительных комментариев по поводу отбора непереводаемых случаев. Перевод типа «слово в ИЯ — словосочетание в ПЯ» лакунами считать не будем, если переводное словосочетание обнаруживает черты устойчивости (воспроизводимости). Например, группа слов *признать негодным к военной службе* — это устойчивое словосочетание, поэтому глагол *ausmustern*, переводом которого этого словосочетание является, к непереводаемым лексемам причислять не будем. Несущественными являются и расхождения в грамматическом числе: *картошка* — *Kartoffeln*. Не учитываются различия по «внутренней форме слова» (этимологии). Внутренняя форма слов обычно не осознается (не актуализируется) в сознании говорящих и слушающих — за исключением случаев языковой игры. Спорными в этом аспекте представляются лексемы, в которых внутренняя форма является «говорящей» (например, *анютины глазки*, *иван-чай*, *Stiefmütterchen*) или в которых она настолько образна, что перевод — формально точный — не способен передать всей ее яркой выразительности. В переводе она заметно блекнет. Например, *Zaungast* (дословно *гость у забора*) — *сторонний наблюдатель*, *Erbsenzähler* (дословно *счетчик гороха*) — *зануда, педант*.

Если выводить представления о культуре непосредственно из языка, то можно было бы утверждать, что немцы обладают значительно большей по сравнению с русскими наблюдательностью или что они традиционно остроумнее. Подобное прямое замыкание языка на культуру и культуры на язык является следствием неверного понимания природы языка и его роли в человеческом обществе. При беспристрастном — чисто лингвистическом — взгляде на вещи очевидно, что яркая



образность немецких композитов проистекает из активного использования наиболее продуктивной словообразовательной модели немецкого языка — словосложения. Образность непосредственно связана с числом корней, участвующих в образовании слова: два или три корня обеспечивают более выразительный образ, чем один.

В итоге сравнения лексики при переводе текстов с русского на немецкий и с немецкого на русский и с учетом сделанных оговорок получаем следующие классы и группы непереводаемых лексем.

### *1. Лакуны в словаре*

1. Так называемые «реалии»: наименования некоторых блюд, некоторых видов одежды, некоторых государственных учреждений, некоторых профессий, типов учебных заведений, праздников и т.п. Сюда же входят «исторические» реалии (*блицкриг*, *Perestrojka*). Чаще всего «реалии» при переводе транслитерируют, иногда снабжая комментарием, или описывают, или переводят «приблизительно» (*солянка* — *Salzkrautsuppe*) — в зависимости от жанра и цели текста.

2. Фольклорные образы (*Лука Патрикеевна*; *Hans Wurst*).

3. Некоторые крылатые слова и образы из общекультурных источников (Библии, мифологии) распределяются по языкам по-разному (например, в немецком бытует идиома *Argusaugen*, а в русском — *цербер*).

4. Крылатые слова из национальной литературы, из фильмов (*Gretchenfrage*; *обломовщина*; *простенько, но со вкусом*).

5. Некоторые приметы.

6. Лакуны по семантическому (ассоциативному) объему: некоторые поверхностно совпадающие лексемы обладают столь различными семантическими объемами (если включить в такие определенный набор устойчивых социально значимых ассоциаций), что не могут считаться реальными эквивалентами (например, немецкий *Bauer* — это не русский *крестьянин*, немецкий *Keller* — это не русский *подвал*).

7. Стилистические лакуны: некоторые слова столь значительно расходятся по стилистическим коннотациям, что они также не могут считаться полноценными эквивалентами (например, просторечное *запомнить* имеет нейтральный по стилю эквивалент *vergessen*; разговорное *повадиться* соответствует нейтральным *sich zur Gewohnheit machen*, *frequenzieren*).

8. В одном языке лексема выступает как гипероним по отношению к лексемам другого языка (*сон / мечта — Traum; Arm / Hand / Oberarm / Unterarm — рука*<sup>1</sup>).

9. Фразеологизм в одном языке переводится свободным словосочетанием в другом (*у кого-либо век короткий — j-d lebt nicht lange, hat kurze Lebenserwartung*).

10. Слова, эквиваленты для которых отсутствуют по причине их создания по словообразовательным моделям, которых нет в другом языке. Таковы немецкие сложные слова (*Leisetreter, Lohndrucker*); немецкие глаголы с приставками *mit-, weg-, hin-, her-*; немецкие псевдопричастия, образованные от существительных (*bebrillt, beschuht, eingerahmt*); немецкие глаголы от числительных (*verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen, versechsfachen* etc. — русские эквиваленты существуют только для немногих из них); большинство русских глаголов с приставками *недо-* (*недоглядеть*), *на-* в сочетании с частицей *-ся* (*нарадоваться*); глаголы с суффиксами *-ива-* / *-ыва-* (*хаживать*), существительные с уменьшительными суффиксами (*солнышко, грибок*), прилагательные с увеличительными или уменьшительными суффиксами (*высоченный, малюсенький*) и множество других.

Несмотря на то что суффиксация является типичным способом словообразования в русском языке, некоторые суффиксы в немецком не имеют аналогов в русском. Так, суффикс женского рода *-in* стилистически нейтрален и имеет почти неограниченную сочетаемость, в результате чего в немецком языке почти не возникает необходимости пользоваться существительным мужского рода в качестве заменителя для обозначения женских профессий или социальных ролей: *Ministerin, Kanzlerin, Entwicklerin, Fahrerin*. Столь удобного общего суффикса для образования форм женского рода от названий профессий и социальных ролей в русском языке нет, поэтому здесь имеется огромное число переводческих лагун.

Проблемы возникают и при переводе немецких прилагательных и существительных с суффиксом *-bar* (*unverzichtbar — такой, от которого нельзя отказаться, bestellbar — такой, который можно заказать*). Сложности представляют и некоторые существительные, образованные от переходных глаголов с приставкой *be-*: *Befähigung — придание чему-либо какой-либо способности, Begünstigung — создание для чего-либо благоприятных условий*.

<sup>1</sup> В русском языке имеются точные соответствия: *кисть, предплечье, плечо* — но они используются в основном в анатомии и медицине и не употребляются в бытовом языке.

Таким образом, несмотря на большую разработанность морфологических словообразовательных моделей в русском языке и вытекающую из этого переводную лакунарность в немецком, некоторые немецкие аффиксальные модели также характеризуются непереводимостью на русский язык.

11. Слова, эквиваленты которых отсутствуют из-за неблагозвучия, из-за фонетических запретов. Например, от имен Данте, Рабле, Кафки, Джойса прилагательные в русском языке образовались (*дантовый, раблезианский, кафкианский, джойсовский*), а от имен По или Абэ нет. Также не образовать прилагательные от фамилий, оканчивающихся на *-ий*, поэтому есть *тургеневский*, но нет *\*достоевский*.

12. Отсутствие лексем в языке по причине этических запретов, неприятных исторических ассоциаций или по иным историческим причинам. Например, прилагательные *буржуазный, бюргерский* и *гражданский* претерпели в русском языке столь своеобразное развитие, что в итоге многие немецкие слова, включающие корень *bürger-*, на русский с помощью простых эквивалентов стало не перевести, так как эквивалентов не отыскать: *Bürgermoral, gutbürgerliche Küche, bürgerliche Werte*. Немецкое шутивное обращение *Mädels* в постсоветский период стало невозможно перевести как *девчата*, поскольку слово *девчата* ассоциативно столь тесно оказалось связано с советской пропагандой, что сейчас из русского языка практически исчезло. На его месте образовалась лакуна. Так же обстоит дело с *коллективизмом*: это слово перестало употребляться, поэтому немецкое существительное *Teamgeist* утратило эквивалент. По той же причине негативных исторических ассоциаций на немецкий язык стало трудно перевести слово *отечественный*: его эквивалент *vaterländisch* в современном немецком не употребляется, поскольку ассоциируется с эпохой нацизма. Архаичны сегодня и лексемы, вытесненные из языков политкорректностью: *Fräulein, Krüppel, Zigeuner, калека, убогий, старая дева, синий чулок, засидеться в девках, девица на выданье*.

13. Слова, не имеющие эквивалентов потому, что потенциальные эквиваленты уже «заняты» другими значениями. Так, *fleckig* не перевести на русский язык прилагательным, поскольку его потенциальные эквиваленты *пятнистый* или *запятнанный* заняты: у них другие значения, соответствующие немецким *gepunktet* и *befleckt*. В итоге эквивалентом для *fleckig* выступает словосочетание *с пятном* (вариант: *с пятнами*), а оно в словарь русского языка традиционно не входит. Как вариант можно использовать гипероним *запачканный*.

14. Слова, эквиваленты которых отсутствуют по необъяснимым причинам: *zelten* — *ходить в поход с палаткой, отдыхать*

с палаткой; *paddeln* — кататься на байдарках; *radeln* — кататься / ехать на велосипеде; *rodeln* — кататься на санках; *telefonieren* — разговаривать по телефону; *ausladen* — отменять приглашение. Эта группа среди лакун на уровне словаря самая большая.

## II. Лакуны в речи

Лакуны в речи (в текстах) возникают как из-за особенностей исходного языка, так и из-за ограничений, налагаемых переводящим языком. Переводчику приходится постоянно лавировать между Сциллой и Харибдой: учитывать как своеобразие исходного текста, так и языковую норму при создании транслита. Отсюда гетерогенность лакун: их классификация опирается как на ПЯ, так и на ИЯ.

1. Стилистическая норма ПЯ (сочетаемость) диктует необходимость представления одного значения разными синонимами. Например, словосочетание *j-d bekam rote Wangen* переводится по-разному в зависимости от причины покраснения щек: кто-либо *покраснел от стыда* или *раскраснелся на морозе*. Необходимость выбора разных глаголов продиктована не семантикой (она одинакова), а стилистической нормой. Так же точно прилагательные *warm / heiß* распределяются при переводе по-разному в зависимости от сочетания и контекста: если в доме нет *warmes Wasser*, то по-русски скажут, что в доме *нет горячей воды* (а не *теплой*), а если мы умываемся под краном, то из крана течет *теплая вода* (а не *горячая*). Если же вода из-под крана для умывания слишком горячая, то и по-немецки она будет обозначена как *heiß*, а не *warm*. Так что распределение *горячий / теплый* ориентировано не на температуру воды и ее восприятие в той или иной культуре и не на привычки того или иного народа, а исключительно на стилистическую норму.

Стилистическая же норма позволяет обнаружить скрытые лакуны: так, в словаре прилагательное или наречие *primitiv* переводится как *примитивный, примитивно*. А вот в предложении *Das Zimmer war primitiv eingerichtet* это же слово перевести согласно словарю нельзя, можно только: *Комната была обставлена просто*.

Прилагательное *fleißig* переводится на уровне словаря как *прилежный*, но много ли текстов, где реально употреблялось бы слово *прилежный*? Это довольно редкое слово в русском дискурсе, по крайней мере в относительно современном его состоянии. Каждый раз приходится подыскивать для *fleißig* разные способы перевода — в зависимости от смысла текста и от стилистической нормы русского языка (например, *кто-либо*

неутомим, кто-либо работает не покладая рук, кто-либо великий труженик, кто-либо никогда не сидит без дела).

Прилагательное *sinnlich* двуязычные словари предлагают переводить как *чувственный*. Однако в немецких текстах *sinnlich* нередко употребляется в словосочетаниях, при переводе которых русский эквивалент использовать невозможно, так как его понятийно-ассоциативное содержание немецкому не соответствует: *Ein von der ersten Seite an ebenso sinnliches wie spannendes Buch, das einen unverwechselbaren Eindruck hinterlässt* (журнал «Der Spiegel»); *Singen heiÙe, <...> Vokale und Konsonanten in ein sinnliches Verhaltnis zueinander setzen* (газета «Die Zeit»). Перевести здесь прилагательное *sinnlich* весьма затруднительно, и переводчику придется проявлять изобретательность и передавать смысл сказанного, минуя рекомендации словаря.

Следовательно, словарная эквивалентность вовсе не залог успешного перевода с помощью того же эквивалента в тексте.

2. Грамматическая норма ПЯ диктует необходимость замены словарного эквивалента: *j-d wird rot durch Kalte* нельзя перевести в настоящем времени с помощью того же глагола *раскраснеться* (от мороза, на морозе), как в п. 1, потому что у этого глагола нет формы настоящего времени. Поэтому приходится переводить его как *у кого-либо краснеют щеки на морозе*.

Пример *Faust hungert nach Wissen und nach Selbstbestatigung* (журнал «Focus») переводится не с помощью эквивалента глагола *hungern* — *голодать*, а с помощью его заменителя *жаждать*: *Фауст жаждет знаний и самоутверждения*. Но если перенести предикат в план прошедшего времени (а переводчик вправе это сделать), то немедленно открывается и возможность более близкого к оригиналу перевода: *Фауст изголодался по знаниям и по самоутверждению*. В настоящем времени глагол *голодает* не годится, а в прошедшем — *изголодался* — подходит, у него есть то же переносное значение, что у немецкого *hungern*.

3. Диктат грамматики ИЯ в тексте: иногда грамматическая конструкция исходного текста вынуждает отказываться от имеющегося словарного эквивалента и искать другие способы перевода. Так, однородные члены предложения временами требуют поиска переводческих решений в области лексики, отличных от непосредственно эквивалентных. Например: *Nun war sie ruhig und getrostet* (E. Keyserling). Прилагательное *ruhig* и причастие *getrostet* по отдельности имеют эквиваленты, но в русском языке эти эквиваленты невозможно соединить связью однородных членов предложения: *\*спокойна и утешена*; *\*спокойна и утешилась*. Приходится отбрасывать эквивалентные переводы и искать близкие по смыслу слова, которые

позволили бы сохранить синтаксис оригинала: *Теперь она успокоилась и утешилась; Теперь она была спокойна и безмятежна*. Переводчик из-за давления грамматики нередко ведет себя так, как если бы в языке перевода лексических эквивалентов не имелось.

4. Диктат тестовых стилевых норм — например, требование избегать повторов — может приводить к вынужденному отказу от эквивалентности. Так, предложение *Er stellt sich in die Schlange und wartet geduldig, bis er dran ist* («Der Spiegel») согласно требованиям эквивалентности следовало бы перевести как *Он встает в очередь и терпеливо ждет, когда подойдет его очередь*, но из-за назойливого повтора одного и того же слова *очередь* в рамках короткого текста переводчик, скорее всего, прибегнет к иному переводу, отказавшись от перевода эквивалентного, например: *Он встает в очередь и терпеливо ждет, когда его обслужат*.

5. Узус (частотность, привычность) в ПЯ нередко заставляет переводчика искать вариант перевода, далекий от эквивалентного, в связи с тем что писатель — автор оригинального текста — употребляет нечастотные, необычные словосочетания. Например, такой эквивалентный вариант перевода словосочетания *замшевая походка* (Набоков), как *Wildlederschritte* или *Wildledergang*, для перевода не годится: непривычный композит могут расценить как признак недобросовестного перевода. Ведь читатель не знает, каков оригинал. Писатель волен сочетать необычные лексемы, придумывать замысловатые метафоры, а переводчику такой свободы не дано. Узус диктует необходимость искать для перевода более привычные варианты, которые не вызовут недоумения читателя. Лексическая эквивалентность, хотя в словаре она присутствует (*замшевый* — *Wildleder-*), остается в тексте нереализованной.

6. Полисемия в ПЯ препятствует эквивалентному переводу в тексте: лексема в одном из языков многозначна и ее значения могут воздействовать друг на друга, так что языковая система «проникает» в речь через такое фоновое влияние, и это влияние, в свою очередь, отражается на переводе. Одно из значений многозначного слова может отразиться на понимании другого — и в итоге может возникнуть двусмысленность. Например, предложение *Bald werde ich Herr vom Garten sein; der Gärtner ist mir zugetan* (Goethe) невозможно перевести как *Скоро я стану хозяином сада; садовник проникся ко мне симпатией*. Необходимо добавить *полновластным хозяином сада*. В противном случае можно понять предложение так, что я скоро приобрету (куплю) сад; здесь же имеется в виду, *говорящий скоро станет в нем главным человеком*.

Другой пример: *Ich erinnere mich nicht an die Entlassung des Großvaters* («Der Spiegel»). Существительное *Entlassung*, согласно двуязычным словарям, означает 1) освобождение, 2) увольнение. Какое именно освобождение, не уточняется: это может быть освобождение из плена, из темницы, из заточения, из неволи, а может быть освобождение от исполнения каких-либо обязанностей. В данном тексте речь об освобождении из тюрьмы. Перевести предложение при помощи одного только словарного эквивалента *освобождение* невозможно, поскольку слово *освобождение* многозначно и благодаря взаимовлиянию своих значений вызывает иные ассоциации, чем немецкое *Entlassung*. Поэтому требуется трансформация: *Я не помню обстоятельств освобождения деда из тюрьмы*.

В таких ситуациях лексическая многозначность оборачивается текстовой лакуной, требующей заполнения.

7. Культурная маркированность тех или иных отрезков текста, не поддающаяся спецификации и обобщенному описанию. Например, диалог:

— *Sie sind bestimmt wegen dem Geld hier! — Wegen DES GeldES! bemerkte Paul Sand* (J. Siegmann) —

перевести на русский язык затруднительно, потому что он вращается вокруг специфической темы немецкой грамматики. Конечно, можно перевести этот отрывок, исказив какое-либо русское словосочетание и заставив собеседника исправить ошибку (например: *Вы здесь благодаря денег? — ИЗ-ЗА денег!*), но такой перевод не сумеет отразить актуальный для современной немецкой грамматики диспут между защитниками устаревшего генитива и сторонниками вытесняющего его датива, а именно этот диспут стоит в центре приведенного диалога.

8. Некоторые случаи языковой игры: «*Правоохранительные органы, которых впору назвать «правоХОронительными», плохо выполняют свои легальные функции* (А. Колесников). Игры такого рода переводить эквивалентами не представляется возможным, и переводчикам приходится призывать на помощь творческую изобретательность.

9. Некоторые поэтические тексты или части текстов, в которых форма содержательна, т.е. семантически значима: *O Orpheus sing! O hoher Baum im Ohr!* (Rilke); *Это не розы, не рты, не ропот* (Пастернак).

### III. Промежуточные случаи

Промежуточные случаи неоднородны. К ним можно отнести явления нескольких видов: 1) лексема в словаре заведомо



обладает значительно большим числом сем, чем в речи (такие единицы можно назвать лексемами с емкой семантикой) [Павлова 2007]; 2) неясно, входят ли те или иные лексические единицы в словарь социума или же их следует рассматривать как окказионализмы; 3) неясно, считать ли то или иное явление действительно случаем непереводаемости или нет. Рассмотрим перечисленные категории более подробно.

### 1. Емкие значения

Есть слова, для которых характерна большая глубина семантического описания (большой набор сем). Таковы русские слова *пошлый*, *зануда*, *интеллигентный*, *порядочный*, *тоска*, *дерзость*, *истома*, *сомлеть*, немецкие *gemütlich*, *peinlich*, *resigniert*, *Rücksicht*, *schlau*, *übermütig*, *nett*, *aufgeweckt* и множество других. Эти слова семантически многогранны и несколько аморфны: если они и многозначны, то границы между их значениями проницаемы. Например, *зануда* — это и скучный человек, и педант, и надоедливый. *Интеллигентный* — и образованный, и тактичный, и хорошо воспитанный. *Übermütig* — и дерзкий, и веселый, и храбрый. *Gemütlich* — уютный, неторопливый, добродушный, увалень. Значения подобных слов могут быть описаны с помощью, во-первых, большого набора сем и, во-вторых, большого количества различных примеров словосочетаний. У них чрезвычайно широкая сочетаемость, и в текстах их семантика обычно представлена не полным набором сем, которые входят в их словарное описание, а лишь частью этого набора. Полных (полностью совпадающих по объему) эквивалентов на уровне словарей у них нет, но в текстах их смыслы обычно переводятся эквивалентами, покрывающими тот набор сем, который в тексте реализуется.

Это можно продемонстрировать примерами. Обратимся к одному из излюбленных в среде лингвокультурологов (благодаря известному очерку В. Набокова «Пошляки и пошлость») примеру якобы непереводаемости — слову *пошлый*: *Menschen glücklich zu machen. Klingt kitschig, ich weiß, aber das ist mein Traum* («Die Zeit»). — *Сделать людей счастливыми. Звучит пошло, я знаю, но это моя мечта; Es war freilich nichts weiter als die Klarheit, die Selbstverständlichkeit, das billige und ordinäre Licht der Alltagsweisheit, aber es wirkte doch erleichternd und befreiend* (E. Friedell). — *Это были всего лишь простота, ясность, дешевый и пошлый отблеск обыденного здравого смысла, но действие их было спасительно и целебно; Da blieb nur die Belletristik: Die Geschichten aus dem 18. Jahrhundert von Marquis de Sade oder D.H. Lawrences schlüpfrig-konkreter Roman "Lady Chatterley's Lover", der Ende der zwanziger Jahre veröffentlicht wurde* («Der Spiegel»). — *Оставалась только художественная литература*

18 века: новеллы Маркиза де Сада или **пошло**-конкретный роман Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей»; *Es kichert die Nonne bereits über eine nackte Wade, die Jungfrau in Romanen des 18. Jahrhunderts über die kleinste Anzüglichkeit* («Die Zeit»). — Монашка начинает хихикать уже при виде голой икры, девица из романов 18 века прыскает в кулачок от малейшей **пошлости**; *Dieses Gefühl schien mir niedrig und vulgär* (J. Roth). — Это чувство показалось мне **низменным и пошлым**.

В этих отрывках слова *kitschig, ordinär, anzüglich, schlüpfrig, vulgär* иначе как **пошлый** не перевести. Этот перевод отыскивается не потому, что из-за отсутствия альтернативных средств ничего другого здесь не придумать, а потому, что немецкие слова обозначают именно то, что выражает их русский эквивалент **пошлый** в данных текстах. Большой сложности это слово для перевода обычно не представляет. То же касается и перевода с русского на немецкий: подобрать эквивалент в рамках текста переводчику несложно. Исключениями можно считать только тексты, где слово **пошлый** будет обсуждаться именно как словарное слово, т.е. абстрактно, вне конкретной сочетаемости — как слово, описываемое большим числом сем и требующее перевода именно в этом качестве. Однако число такого рода текстов ничтожно мало. То же можно сказать и о других словах с емкой, многогранной и в то же время аморфной семантикой.

## 2. Окказионализм или единица словаря?

2.1. Немецкий обладает способностью к субстантивации любой части речи: *das Springen, das Schöne, das Wenn, das Aber, das Aus*. Субстантивация предлогов, глаголов, прилагательных в немецких текстах представляет для русского перевода немалые трудности. С одной стороны, в словарях такого рода слова не значатся. С другой стороны, распространенность и привычность многих из них заставляет предположить, что они лексикализованы. Так, выражения *Das Traurige daran ist...; Das Gute daran ist...* никак нельзя признать окказионализмами, это воспроизводимые во множестве речевых актов формулировки. Русский язык подобной широты субстантивации не обнаруживает, поэтому здесь наблюдается бесчисленное количество переводных лакун<sup>1</sup>. Например: *das Aus der deutschen Frauenfußballmannschaft*. Перевод требует раздумий, перебора различных вариантов, изобретательности. Можно предложить такой вариант: *бесславный конец восхождения немецкой женской*

<sup>1</sup> Например, в связи со «сквозными мотивами» «русской языковой картины мира» хотелось бы задать вопрос авторам книги «Ключевые идеи русской языковой картины мира», в чем именно заключается означенная \*сквозность и как она определяется? Правда, подобного существительного в русском языке нет, и его не образовать.

футбольной команды на спортивный Олимп. Практически это не перевод, а близкий к тексту пересказ.

2.2. Неясное положение между языком и речью занимают так называемые фразеосхемы, или синтаксические идиомы: языку принадлежит синтаксическая конструкция, в которую входят одно или два (реже больше) служебных или десемантизованных слова, а лексическое заполнение таких конструкций происходит в речи. Для некоторых фразеосхем оно свободно, для других семантически ограничено. Например: *уж что-что, а...; уж на что он..., а...; und ob er...!* и т.п. Многие из таких фразеосхем не имеют эквивалентных переводов. Из-за невозможности отразить фразеосхемы в словарях в лексикографии они не фиксируются.

### 3. Эквивалентность или отсутствие эквивалентности?

Неясно, как рассматривать случаи, когда перевод осуществляется с помощью другой части речи: является ли принадлежность к другой части речи достаточным критерием для причисления того или иного слова к непереводаемым? Например, герой приносит бьющейся в истерике героине коньяк и говорит: *Hier bringe ich dir eine Stärkung* (J. Roth). В русском языке нет эквивалента существительного *Stärkung*, но есть глагол *подкрепиться* или устойчивое словосочетание *подкрепить силы*, так что перевод осуществляется без труда: *Vom, подкрепились*.

Порой неясно, по какой именно причине в языке нет того или иного однословного обозначения определенного понятия. Например, немецкий глагол *sich aussperren* означает 'остаться без ключа перед захлопнувшейся дверью'. Возможно, в русском языке соответствующее слово не было образовано по чисто фонетическим причинам (из-за потенциального неблагозвучия), ср. *sich einsperren* — *запереться (на ключ, на засов)*. Не исключено, что потенциальный эквивалент уже «занят» другими значениями: в русском языке имеется разговорно-сниженный глагол *выпираться*, не имеющий отношения к значению, выражаемому немецким *sich aussperren*. А возможно, отсутствие эквивалента — чистая случайность. Во всяком случае, рассуждения о том, что для немецкой культуры это понятие «важнее», представляются ничем не оправданными.

Несмотря на то что группа I кажется объемнее, чем группа II, в реальности лакун, которые обнаруживаются в текстах благодаря нормативным запретам и рекомендациям, связанным с узусом, несопоставимо больше, чем лакун, которые обнаруживаются уже в лексиконе до всякого знакомства с конкретными текстами. Словари требуются переводчику лишь как вспомогательное справочное средство. Переводить

художественные и публицистические тексты на родной язык они обычно не помогают (если речь идет о работе профессионального переводчика). Текстовая лакунарность — явление, преследующее переводчика при переводе постоянно. Обычно факторы, заставляющие переводчика проявлять изобретательность из-за отсутствия простых соответствий, накладываются друг на друга, так что переводческие решения приходится принимать в условиях множественных, сочетающихся друг с другом трудностей.

### *Выводы из сравнения непереводаемых лексем*

Напомним, что мы сравнили только два языка. Если сравнить русский язык еще хотя бы с пятью или десятью языками, то и некоторые приметы, обнаруженные при сравнении только с одним языком, и многие реалии из списка специфических придется вычеркнуть. Но предположим, что мы выполнили в настоящий момент свою минимальную задачу: нашли специфическое в русском, по крайней мере в сравнении с немецким языком. По условию 5 описание специфических черт национального языка является одновременно описанием важных черт национальной культуры. Следовательно, извлеки и описав непереводаемость тех или иных русских лексем на немецкий язык, мы нашли и свойства русской культуры. Какие же это свойства?

Мы обнаружили, что реалии, несомненно, часть культуры. Но это было известно заранее, поскольку тривиально. Знание, что самовар или сталинизм являются реалиями, предшествует языковому анализу. То, что крылатые слова, некоторые приметы, загадки, шутки, анекдоты, фольклорные образы являются принадлежностью культуры, тоже известно до всякого лингвистического анализа.

Далее, мы нашли некоторые расхождения между распределением общеевропейских культурных источников (мифов) по языкам: например, в немецком языке бытует миф о Валтасаре в виде идиомы *Menetekel*, а в русском — нет. В русском используется выражение *нить Ариадны*, а в немецком — нет. Как соотносить это неоднородное распределение мифов с культурами?

Установленная нами непереводаемость в области словообразовательных моделей — это тоже свойство культуры? Если да, то как его истолковать в терминах культуры? Как соотносится с культурами народов тот факт, что немцы используют для словообразования в первую очередь словосложение, а русские — аффиксацию? И как соотносится с культурой немцев тот факт, что они любое слово могут превратить в существительное, а с русской культурой — то обстоятельство, что по правилам

русского языка, наоборот, невозможно любое слово субстантивировать?

Мы обнаружили некоторые случаи непереводимости в области фразеологии и идиоматики. Как эти случаи соотносятся с культурой? Например, в ходе анализа нам удастся выяснить, что в русском языке отсутствует эквивалент устойчивого выражения *faule Kompromisse*. Можно ли на основании этой лакуны делать вывод, что для русских любые компромиссы хороши? Немцы четко различают компромиссы: одни конструктивны, другие деструктивны. Последние именуются *faule Kompromisse* — они свидетельствуют о моральной слабости одного из участников конфликтной ситуации. Но ведь и русские различают те же категории компромиссов: готовность идти на компромисс иногда оценивается положительно, а иногда осуждается. Однако специального выражения для обозначения двух разных категорий компромиссов в русском языке нет, а в немецком отсутствует специальная лексема для обозначения «положительных» компромиссов.

В русском языке нет эквивалента устойчивого словосочетания *trockener Humor* (дословно: «сухой юмор»). Имя для данного объекта отсутствует, но людей, чью манеру шутить назвали бы по-немецки *trockener Humor*, среди русских никак не меньше, чем среди немцев.

В ходе сопоставления идиоматики мы выяснили, что русские говорят: *У кошки век короткий — всего пятнадцать лет*, или: *На мой век чего-либо хватит*. Означает ли это, что русские исчисляют век иначе, чем немцы, которые про продолжительность жизни человека или животного никогда не скажут ничего, что бы напоминало *Jahrhundert*?

О небольшом количестве каких-либо объектов русские говорят *десяток*, а немцы *Dutzend* (*дюжина*). Можно ли из этого сделать вывод, что немцы и русские по-разному считают? Может быть, дело объясняется тем, что *Dutzend* в немецком представляет собой существительное, а от числительного *zehn* существительного нет, в то время как *десяток* в русском, как и *Dutzend* в немецком, представляет собой существительное? В итоге носители и немецкого, и русского языков используют в контекстах, описывающих количественную неопределенность, имеющиеся в их языках существительные.

Где границы допустимых здравым смыслом предположений и спекуляций<sup>1</sup>? Где грань между догадкой и домыслом?

<sup>1</sup> Если слить воедино культуру и язык, то можно прийти к сентенциям следующего содержания: «Там, где мы видим одно число, англичане (и некоторые другие народы) видят другое. Речь идет об

Нам открылось, что немцы членят (делят) руку даже не на две части (кисть и все, что выше кисти), как принято считать, а на четыре: все, что выше локтя (*Oberarm*); все, что ниже локтя и выше кисти (*Unterarm*); далее *Oberarm* и *Unterarm* вместе (*Arm*) и кисть (*Hand*). Можно представить себе, что эта детализация и внимание к руке отражает немецкую педантичность, точность, склонность к конкретному. Но как это совмещается с тем, что немцы не слишком детализируют такие виды одежды, как *пальто* — *халат* — *плащ* — *тулуп* — *шинель* (все это — *Mantel*), или *обувь* — *босоножки* — *ботинки* — *туфли* — *сандалии* (все это — *Schuhe*)? Каким образом внимание к руке соотносится с невниманием к ноге, где обозначение шиколотки совпадает с обозначением косточки (*Knöchel*)? И как детализация руки совмещается со слиянием горла и шеи в одном обозначении *Hals*?

Немцы обо всех действиях, связанных с прибытием, говорят *kommen*: способ прибытия для выбора глагола нерелевантен. Многозначность глаголов *schaffen*, *machen* беспредельна. В то же время для того, чтобы выразить значение *собирать*, носитель немецкого языка должен точно знать, что именно собирают: предметы коллекционирования, виноград, грибы, иголки с пола, плоды с дерева, спаржу или картофель. Для каждого объекта сбора свой глагол. Как совместить педантизм, точность, стремление к конкретности и деталям в одном с отсутствием таковых свойств в другом? Что сказать о соответствующей культуре или о «мировидении» народа? Что оно противоречиво?

Мы обнаружили, что у немцев есть глагол *zelten*, а у русских нет его эквивалента. Означает ли это, что русские не ходят в палаточные походы? Или что для русских этот вид отдыха менее значим?

У русских нет глагола, который бы обозначал действие *разговаривать по телефону* — означает ли это, что они реже разговаривают по телефону, чем немцы, или что их телефонные разговоры короче, или что для них телефонные контакты менее важны?

Наверное, никого не затруднит ответ на вопрос, в какой стране зимой выпадает больше снега и где чаще катаются на санках — в Германии, Австрии, Швейцарии или в России. Катание на санках — типично русское зимнее развлечение. Но однословное обозначение этого занятия есть в немецком языке (*rodeln*) и отсутствует в русском.

---

этажах. Если англичанин говорит, что он живет на третьем этаже (on the third floor), то для нас это означает, что он живет на четвертом этаже, т.е. в таких случаях первый этаж не учитывается, считается как бы нулевым» [Павленко 2010: 58]. Англичанин действительно живет «для нас» на четвертом этаже, но из чего следует, что он «видит другое число»?

Известно, что немецкие женщины значительно реже, чем русские, носят обувь на высоких каблуках. При этом в немецком языке имеется глагол *stöckeln* (*ходить на каблуках*), а в русском однословного или лексикализованного многословного эквивалента не отыскать, хотя, казалось бы, должно быть наоборот.

Известно также, что в современной России распространена практика переноса праздничных дней: например, если праздник выпадает на четверг, то пятницу тоже делают праздничным (нерабочим) днем за счет, например, субботы следующей недели. При этом пятница между официальным праздничным днем и выходными никак не именуется. В немецком же для такого дня есть специальное название — *Brückentag* («день-мостик»). При этом перенос выходных на *Brückentag* не принят. Можно с достаточным основанием утверждать, что для россиян понятие «день между праздником и выходными» значительно актуальнее (важнее), однако на лексиконе это не отразилось.

В русских домах и квартирах гораздо чаще используются цветные обои, чем в немецких (такова традиция). Немцы чаще оклеивают стены белыми обоями, а затем при ремонте лишь обновляют краску, не меняя обои. Однако в русском языке нет глагола, который являлся бы эквивалентом немецкого глагола *tapezieren* (*клеить обои*). Мы вновь встречаемся с ситуацией, когда какое-то явление в одной культуре более распространено, чем в другой, а лексические данные этому факту противоречат.

В русской культуре, как и в немецкой, принято оставлять последний кусок какого-либо кушанья на блюде нетронутым. Но в русском языке этот объект никак не называется (разве что «последний кусок»), а в немецком для его обозначения есть специальное слово *Anstandshappen* (дословно: «кусочек приличия», или «кусочек порядочности»).

В России в последние десятилетия процветает торговля. Рынок товаров и услуг разнообразен, реклама борется за клиентов. Однако слова для обозначения потенциального клиента — соотвественно немецкому существительному *Interessent* — в русском языке нет. И эта лакуна о русской культуре ничего не сообщает.

В России нередко дорожно-транспортные происшествия (ДТП), после которых виновники скрываются с места аварии. Это тяжкий проступок, но в русском языке для него нет обозначения в виде существительного. В немецком языке он именуется *Fahrerflucht*. Нет никаких оснований считать, что для немецкой культуры это явление более характерно, чем для



русской, или что для немецкой культуры оно важнее. Мы имеем здесь дело все с тем же словосложением, которое является наиболее типичной словообразовательной моделью в немецком языке и слабо представлена в русском.

В немецком языке есть существительное *Abkürzung*, обозначающее более короткий путь. В русском эквивалентного существительного нет. Можно сказать только *сократить дорогу* (глагольная группа). Какой культурологический вывод напрашивается из этого наблюдения? Стоит ли утверждать, что русским не свойственно сокращать путь или что для русской культуры длина пути не слишком важна, раз представление о его сокращении не закрепилось в языке в виде существительного?

Немцы употребляют прилагательное *rot* и для обозначения красного цвета (например, цвет крови), и для обозначения рыжего цвета (например, цвет лисьей шкуры или цвет волос человека обозначается словом *rot*). Означает ли это, что в их культуре не различаются эти два цвета? В немецком активно используется прилагательное *orange* — *оранжевый*. Можно ли предполагать, что *оранжевый* немцы различают, а *рыжий* нет? Кто может с точностью отделить рыжий от оранжевого? Далее, очень распространено мнение, что немцы (как и англичане) не различают синий и голубой (*blau*). Но голубой и синий цвета радуги именуется *hellblau* и *indigo* — следовательно, синий и голубой различаются на уровне не только восприятия, но и языка. Более того, синий и голубой в немецком имеют такое количество специальных оттенков (*tiefblau*, *kobaltblau*, *veilchenblau*, *türkisblau*, *himmelblau*, *fahlblau*, *blässblau*), что в освоении этих цветов во всем их разнообразии носителями немецкого языка сомневаться не приходится.

Примеры лексикализации сложных слов (немецкий язык) в отличие от словосочетаний (русский язык) демонстрируют не различия в культурах, а чисто языковую закономерность: словосочетанию труднее «пробиться» в словарь, чем цельно-оформленной лексеме.

Возможно, некоторых слов нет в языке не только по причинам чисто словообразовательным, морфологическим или фонетическим, но и по причинам культурологическим. Например, неясно, отсутствует ли русское лексическое соответствие немецкому существительному *Fernweh* (дословно «тоска по дальним странам») только потому, что *Fernweh* образовано путем словосложения, или еще и потому, что немцы традиционно больше путешествуют. Также неясно, бытует ли в немецком языке слово *Erklärungsnot* («необходимость объясниться, пояснить свои поступки, извиниться») только по причине словообразовательной или еще и потому, что в немецкой культуре

в большей степени распространен кодекс чести и бытуют более ясные представления о приличиях.

По-видимому, и объем некоторых тематических полей в одном языке по сравнению с другим тоже можно иногда связать с культурой. Так, особая разработанность тематического поля психологии в немецком языке объясняется не столько слово-сложением (хотя и оно, несомненно, присутствует в числе причин), сколько давней и прочной традицией психоанализа и психотерапии, ведущей свое начало от Фрейда и его последователей. Язык психологии быстро проник в бытовой язык, так что выражения *aufarbeiten*, *ausleben*, *geltungshungrig*, *kontaktscheu*, *Berührungssängste*, *harmoniebedürftig*, *selbstsüchtig*, *ichbezogen*, *recht-herberisch* стали неотъемлемой частью общего немецкого лексикона. В русском языке эквиваленты этих слов, вероятно, отыскиваются в учебниках психологии, но в бытовом языке на их месте лакуны, что также объясняется историческими причинами. Не исключено, что по мере появления услуг психотерапевтов и в России профессиональный язык психологии все больше начнет проникать в русский бытовой язык.

Однако в целом возможность объяснить разработанность или неразработанность того или иного тематического поля в терминах культурологических и исторических предоставляется крайне редко и является скорее исключением из правила. Правило же можно кратко сформулировать как «невыводимость языковых явлений непосредственно из культуры и необъяснимость культуры через язык».

### Ключевые идеи лингвокультурологии и реальность

В 2001 г. вышел учебник В.А. Масловой «Лингвокультурология». В нем перечислены основные объекты изучения этой науки: 1) безэквивалентная лексика и лакуны; 2) мифологемы, обряды и поверья, ритуалы и обычаи, закрепленные в языке; 3) паремиологический фонд языка; 4) фразеологический фонд языка; 5) эталоны, стереотипы, символы; 6) метафоры и образы языка; 7) стилистический уклад языков; 8) речевое поведение; 9) область речевого этикета [Маслова 2001: 36–37].

Этот перечень не вызывает возражений<sup>1</sup>. Все эти объекты можно и нужно изучать. Не нужно только на основании их изучения делать выводы о культуре. Ни один из этих объектов не дает к ней ключа. Точнее, ключ к культуре в них отыскивает

<sup>1</sup> Разве только остается неясным, чем паремиологический слой языка отличается от фразеологического, почему «метафоры» и «образы языка» соединены союзом «и» (скорее всего, это одно и то же) и чем они отличаются от символов.

именно лингвокультурология, поскольку ее представления о культуре расходятся с теми, которые можно почерпнуть, если изучать культуру в историческом и социальном, а не языковом контексте.

О безэквивалентной лексике в учебнике Масловой сказано: «Часто наличие лакуны в одном из языков объясняется не отсутствием соответствующего денотата, а тем, что культуре как бы неважно такое различие» [Маслова 2001: 37].

Выше было показано, что это не так. Множество так называемых переводческих лагун объясняется причинами словообразовательными, фонетическими, историческими, но большинство вовсе ничем не объясняется. Так же точно никак не объясняются лакуны внутриязыковые, к переводу отношения не имеющие: отсутствующие формы, грамматические парадигмы, лексемы для обозначения мыслимых ситуаций и объектов (\*пища, \*пригубивал, \*встрепеневывається, \*унятерить). О культуре носителей русского языка все эти лакуны не говорят ровным счетом ничего.

Мифологемы, обряды и поверья, несомненно, являются знаками и вехами культуры, если помнить и писать об их истории и соотношении с современностью. То же касается стереотипов: это культурно значимые объекты изучения наряду с прочими языковыми единицами — идиоматикой, крылатыми словами, частушками, скороговорками, загадками, анекдотами, вербальными символами той или иной эпохи.

В качестве культурно значимых можно рассматривать также некоторые слова и выражения, часто употребляемые определенными группами населения в рамках той или иной эпохи, той или иной литературной или философской школы, того или иного социального движения. Например, немецкий глагол *wandern* культурно нагружен: он ассоциируется с эпохой немецкого романтизма и может рассматриваться как «ключевое слово» этого художественного направления в истории немецкой культуры. Эта же эпоха отмечена борьбой писателей-романтиков против *Philister*, *Spießbürger*. Филистерам противопоставит *Genie*, а *Weltflucht* — способ от них спастись. Но такие «ключевые слова» — всегда конкретной и ограниченной во времени и пространстве группы — можно обнаружить, только если знать культуру этой группы, ее историю и ее идеи. Языковой анализ таких знаний не предоставляет. Наоборот, мы отыскиваем в языке те или иные слова и выражения, потому что мы их знаем заранее благодаря знанию эпохи.

Знаками той или иной культуры являются и лексемы, исчезающие из языка по причине отрицательных исторических

ассоциаций, новых исторических веяний. Однако из языка исчезает огромное количество слов и вне какой-либо связи с исторически неприятными ассоциациями, например потому, что их постепенно вытесняют более современные синонимы или слова с более широким значением (гиперонимы). Иногда исчезновение слов из лексикона замена не сопровождается, и на их месте образуются необъяснимые лакуны. Так, из русского языка исчезли слова *десница*, *шуйца*, *заутра*, *вечор* и множество других, и проследить корреляцию между их исчезновением и культурой народа не представляется возможным. Во многих случаях это происходит по причинам, с культурой непосредственно не связанным (назовем их «культурно нейтральными»).

Отграничить культурно нагруженное исчезновение лексем от культурно нейтрального невозможно, если не знать заранее, какие лексеммы культурно значимы, а какие нет. И знание это проистекает не из языкового анализа, а из изучения эпохи, ее истории, ее субъектов и тех дискурсов, которые отражают ее идеологию и своеобразие. Например, выражение *работать с огоньком* исчезло из языка благодаря его откровенно идеологической нагруженности в советскую эпоху; лексема *бесприданница* ушло из разговорного языка еще в советскую эпоху по причине неактуальности (исчезновения денотата); а лексеммы *вития* или *сквалыга* исчезли из современного разговорного языка, по всей вероятности, потому, что для них нашлось достаточное число более употребительных синонимов. Опять языковой анализ ничего не дает: мы должны знать заранее, какие именно лексеммы частотны, когда, где, почему и в каких именно дискурсах. Это знание предоставляет не языковой анализ, а изучение истории и социальных условий жизни тех или иных групп населения, их взглядов и их идеологии.

Поскольку общенациональной идеологии не существует, то слова *авось*, *просторы*, *широта души* или *удаль* ключевыми словами русской культуры не являются и являться ими не могут. Они являются ключевыми словами идеологии лингвокультурологов.

В последнее время стало уже общим местом утверждение, что кладезем народной культуры является фразеология. На самом же деле трудно найти нечто более далекое от культурной специфики, чем фразеология. Если сосчитать, какой процент во фразеологии составляют заимствования, то тезис о культурной самобытности придется пересмотреть. Если для оставшейся после вычитания заимствований доли самобытных фразеологизмов выяснить, сколько из них реально известны носителям языка, то кладезь обмелеет весьма ощутимо. Далее, придется

еще определить, сколько из оставшихся фразеологизмов реально активно употребляется (например, назидательные пословицы типа *Сам погибай, а товарища выручай*; *Без труда не вытащишь и рыбку из пруда* или *Слово не воробей, вылетит — не поймаешь* известны из школьной программы, но в живой диалогической речи практически не употребляются; для того чтобы это проверить, сейчас достаточно технических средств).

Допустим, после всех вычетов у нас еще остался материал для анализа самобытности. Теперь стоило бы обратиться к фактору частотности, а также количественному фактору. По моим наблюдениям, в русском языке наиболее распространенными, частотными и многочисленными являются идиомы, включающие слово *дело*. Их около 200 (этот список не содержит пословиц). Активно употребляемых в современном русском языке идиом со словом *душа* около 100, идиом со словами *слово, место, рука* — примерно от 60 до 70 в каждой группе (ясно, что списки эти открытые и речь может идти только о количественном соотношении). Какую информацию о русской культуре можно почерпнуть из этих данных?

В рамках этой работы нет возможности подробно остановиться на частотности лексем и ее связи с культурой. Интересующихся частотностью отошлю к «Новому частотному словарю русской лексики», созданному на основе «Национального корпуса русского языка»<sup>1</sup>. В частотном списке существительных первые пять мест принадлежат словам *год, человек, время, дело, жизнь*. В списке глаголов — *быть, мочь, сказать, говорить, знать*. Какие культурологические выводы допустимо делать на основании этих списков?

Идея о том, что сведения о культуре можно извлекать непосредственно из языка, абсурдна. Если замкнуть культуру на язык и объявить их идентичность (хотя бы только в сфере переводимости-непереводимости), то мы сталкиваемся с возможностями неограниченных и самых фантастических спекуляций.

Ни один из лингвистических объектов не предоставляет ключа к общей национальной культуре. Под национальной культурой следует понимать совокупность огромного числа культур отдельных социальных сообществ на определенном историческом этапе их существования. Все лингвистические объекты, которые можно рассматривать как стереотипы той или иной группы населения в тот или иной момент времени, требуют освещения в аспектах происхождения, причин и истоков

---

<sup>1</sup> См.: <<http://dict.ruslang.ru/freq.php>>.

появления, сферы, субъектов и условий употребления, степени распространения, исторического развития. Ничего вневременного, «чисто» национального, вечного, неизбывного, глубинного, исконного и неизменного при непредвзятом анализе в языке не обнаружить.

В действительности лингвокультурология вовсе не занимается поисками непереводаемого или лингвоспецифического; тезис о непереводаемости (или уникальности) тех или иных концептов никакими реальными попытками что-либо перевести не иллюстрируется. В книге «Ключевые идеи русской языковой картины мира» утверждается следующее: «Заметим, что их [ключевых идей культуры, например, *собираться, добираться, постараться, сложилось, довелось, обида* и др. — А.П.] переводные аналоги не являются подлинными эквивалентами именно ввиду отсутствия в их значениях этих специфичных для данного языка идей» [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: 10]. При этом слова и выражения, рассматриваемые авторами как непереводаемые, переводятся на немецкий почти все без исключения, причем большинство из них переводится уже даже на уровне лексикона и без единой заметной потери хотя бы одной семы в их лексических значениях. «Потери идей» обнаружить не удастся. В текстах же перевод обычно осуществляется еще элементарнее, поскольку поддерживается семантикой окружающих слов и конструкций; хотя семантический объем слов в речи реализуется не полностью, зато к ним часто добавляются иные семы, не фиксируемые словарями. Но все это азбучные истины переводоведения.

Пресловутый «русский авось» переводится самыми разными способами: *auf gut Glück, wenn was ist, für den Fall der Fälle, aufs Geratewohl, ins Blaue hinein, planlos, ohne Plan, auf Gutdünken*. Идея «авось» в немецком дискурсе частотна чрезвычайно.

Утверждения, что уникальными, присущими исключительно русским являются идеи «Чтобы что-то совершить, надо сначала собраться»<sup>1</sup>, «Неприятно, когда попрекают» [Там же: 36], склонность к лени [Там же: 336–344] или что глагол *соскучиться* и существительное *разлука* не имеют точных эквивалентов в западноевропейских языках [Там же: 231], как «ключевые идеи» книги вызывают удивление. Заявления о непереводаемости большинства «ключевых слов» невозможно принять всерьез.

*Попрекать* по-немецки — *Vorhaltungen machen, j-m etwas vorhalten*. Перевод Достоевского (*А правда ль, что вы <...>*)

<sup>1</sup> Этот лейтмотив повторяется в книге в нескольких местах, например на с. 24, 310–313.

сказали вашей невесте... в тот самый час, как от нее согласие получили, что всего больше рады тому... что она нищая... потому что выгоднее брать жену из нищеты, чтоб потом над ней властвовать... и попрекать тем, что она вами облагодетельствована?), выполненный Х. Релем (H. Röhl), предельно точен: *Ist es wahr, daß Sie in eben der Stunde, da Sie von Ihrer Braut das Jawort erhielten, ihr gesagt haben, Sie freuten sich ganz besonders darüber, daß sie bettelarm sei, weil es seine großen Vorzüge habe, eine ganz arme Frau zu nehmen, um dann nachher über sie herrschen zu können <...> und ihr vorhalten zu können, welche Wohltat sie Ihnen zu verdanken habe?* «Идея» попреков отличается от «идеи» упреков (*Vorwürfe, vorwerfen*), являясь в то же время синонимом последней, что позволяет употреблять соответствующие лексемы как однородные члены предложения: *Sie zitterte um den Sohn, der sich mit Bitten, Vorhaltungen und schließlich mit Vorwürfen gegen den Vater erhob* (R. Seitz).

Слово *Trennung* имеет как значение *расставание*, так и значение *разлука* (причем эквивалентность в обоих случаях абсолютно точная): *Wie gerne, Lieber! möchte ich Dir treu erzählen, wie ich die traurigen Tage unserer Trennung zugebracht* (S. Gontard). — *Как мне хотелось бы, родной мой, поведать тебе во всех подробностях, как мне жилось в тоскливый период нашей разлуки; Sobald er nur einen Blick auf ihre Gestalt und ihr Gesicht warf, graute es ihm, dieses schöne Geschöpf sich auf einem untergehenden Schiffe zu denken, und so bitter ihm die zeitweilige Trennung auch war, so zog er sie doch der offenbaren Gefährdung des teuersten Wesens vor* (G. Keller). — *Взглянув на нее, он внутренне содрогнулся, мысленно представив себе это прелестное создание на тонущем корабле, и, как ни тяжела была разлука, она показалась ему предпочтительней, чем риск, коему подвергалось любимое существо. Словом *расставание* немецкое существительное *Trennung* здесь не перевести, и совершенно неясно, на чем зиждется уверенность, что *разлука* является специфической идеей русской языковой картины мира.*

*Скучать, соскучиться* — также вряд ли можно рассматривать как специфические ключевые идеи русской языковой картины мира. *Как же я соскучился!* — *Ich habe dich vermisst; du hast mir gefehlt* — эквивалентность соблюдена по всем семантическим составляющим. *Nur an den Wochenenden vermisst er seine Familie sehr* («Die Zeit»). — *Он скучает по своей семье только в выходные; Der alte grüne Ziehbrunnen, der noch im Garten war, hätte ihm auch gefehlt, um den wär ihm auch leid gewesen* (H. Bahr). — *Он соскучился и по старому зеленому колодцу в саду, он грустил по нему; Als sie hereinkam, startete sie Herrn Mathiessen an. Sie wusste noch gar nicht, dass er da war. Er nickte ihr zu. "Ich hab' Sie schon vermisst", lachte er* (R. Seitz). — *Войдя в комнату, она уставилась на г-на Матиссена.*



Она и не знала, что он здесь. Он приветствовал ее кивком головы и сказал смеясь: «Я по вам уже соскучился!»

Глагол *добираться*, якобы не переводимый ни на один европейский язык [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: 96], переводится на немецкий обычно двумя способами: *добираться долго* — *j-d braucht lange bis nach...*; *кто-либо наконец добрался* — *j-d hat es bis nach... endlich geschafft*. В обоих случаях эквивалентность не страдает.

Идея *собираться, чтобы что-либо совершить*, в немецком передается таким количеством синонимичных выражений, что нужно быть очень наивным человеком, чтобы выдвигать тезис об уникальности подобной идеи для русской языковой картины мира (сиречь русской культуры): *Anstalten machen, drauf und dran sein, sich anschicken, sich ein Herz fassen, gerade dabei sein*.

В немецком наблюдается такое обилие лексем для передачи идеи лени, что вести дискуссию о том, является ли лень ключевой идеей русской культуры или все-таки это явление не сугубо специфичное, кажется занятием бессмысленным. Чего стоит один образ персонифицированной лени — *der innere Schweinehund* — и яркая по своей метафоричности картина преодолеваемой лени в виде идиомы *den inneren Schweinehund überwinden*. Выразительны по своей образности и идиомы, передающие состояние блаженства от «ничегонеделания»: *die Seele baumeln lassen, die Beine unter den Tisch stecken, Däumchen drehen, die Füße hochlegen, durchhängen, blau machen*. Идея лени воплощена и в емких по семантике словах *gemütlich, Gemütlichkeit, bequem: Er ist zu bequem, um aufzustehen*. — *Ему лень встать; Er sei offen, ehrlich, verlässlich. Vielleicht ein bisschen zu phlegmatisch, ein bisschen zu gemütlich* («Die Zeit»). — *Он человек открытый, честный, надежный. Может быть, немножко слишком флегматичный, немножко с леницей*.

Есть в немецком и точные эквиваленты русского *неохота*: *Er war zu unlustig, hinzufahren; Er hatte keine Lust hinzufahren*. — *Ему было неохота туда ехать; Die Jugend hat keine Zukunft mehr, definitiv nicht. Warum nicht? Weil die Jugend keinen Bock hat zu arbeiten* («Die Zeit»). — *У молодежи нет будущего, это очевидно. Почему? Потому что молодежи неохота работать*. Есть и чисто грамматические средства передачи идеи пассивности, бездеятельности — например, глагол *sich lassen* в сочетании с инфинитивом. Так, человек, опускаясь в кресло, *lässt sich in den Sessel fallen*. По предварительным подсчетам средств выражения идеи лени в немецком языке больше, чем в русском, и средства эти разнообразнее. Разумеется, никому не приходит в голову говорить о «типично немецкой лени», но говорить о «типично русской лени» тоже приходит в голову людям, далеким от

лингвистики, поскольку это всего лишь этностереотип. Исключения составляют лингвокультурологи.

«В высшей степени специфично для русского языка», по мнению авторов книги «Ключевые идеи...», слово *заодно* в значении ‘кстати, попутно, одновременно с чем-либо другим’ [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: 345–349]. Утверждение о специфичности этого значения для русского языка опровергается массой примеров из немецкого, а именно глаголами с приставкой *mit-*: *Frei gebliebene Plätze werden über eine Internet-Plattform vermittelt. Der Bewerber kann zudem mitverfolgen, welchen Rang er auf der Warteliste hat* («Die Zeit»). — *О вакансиях сообщается в Интернете. Претендент может заодно посмотреть, какое место в списке ожидания он занимает; Ich hatte erst versucht, mit meiner Tochter mitzulernen* («Die Zeit»). — *Сначала я попробовала было поучиться заодно с дочкой; Inzwischen sieht es so aus, dass man auch schon ein bisschen Kuchen mitkaufen muss, um Rosinen zu bekommen* («Die Zeit»). — *Во всяком случае, ясно, что нужно купить заодно и кусочек пирога, раз уж хочется изюма; Und was das neue Programm in eine Sprache übersetzt, ist in die übrigen im wesentlichen gleich mitübersetzt* («Die Zeit»). — *То, что переводится новой программой на один язык, переводится заодно и на другие*. Приставка *mit-* присоединяется к очень большому числу глаголов и во множестве контекстов в точности соответствует русскому *заодно*. Степень распространенности этой приставки с частотностью слова *заодно* несравнима, поскольку словообразовательная модель с приставкой *mit-* в немецком языке одна из наиболее продуктивных.

*Щепетильность* как «сквозной мотив» русской языковой картины мира [Там же: 378–397] также противоречит некоторым фактам. Так, в русском языке не отыскивается подходящих эквивалентов для немецких лексем *Rücksicht*, *Rücksicht nehmen*, *rücksichtslos*, *rücksichtsvoll*, выражающих семантику щепетильности. Нет эквивалентов и для некоторых других лексем из того же тематического поля щепетильности: *Mitgefühl*, *Fingerspitzengefühl*, *diskret*. Нет возможности перевести на русский язык простейшую фразу *Mich beschämte diese Aufgabe keineswegs* (J. Roth) — просто потому, что глагол *устыдить* (*beschämen*) согласно русской стилистической норме не сочетается с подлежащим, выраженным неодушевленным существительным. Устыдить кого-либо может лишь кто-либо, но не что-либо. Поэтому это предложение придется перевести с помощью перефразирования: *Эта задача не показалась мне постыдной; Я не устыдился этой задачи*. Сочетаемость немецкого *beschämen* шире, чем сочетаемость его русского эквивалента. В этой же связи стоит упомянуть немецкое слово *peinlich*, сочетаемость которого столь широка, что семантика щепетильности

оказывается выражена этим словом в необозримом количестве самых разных контекстов, требующих немалого искусства при переводе на русский язык. Однословные эквиваленты обычно не подобрать. В основном перевод достигается с помощью перифразирования или трансформаций: *Der Traum sei so wenig eine Wunscherfüllung, daß in ihm selbst ein harmloser Inhalt peinlich empfunden werden kann* (S. Freud). — Сон так далек от исполнения желаний, что в нем даже самое невинное содержание может восприниматься как нечто постыдное; *Peinliche Familienszenen kommen kaum vor* («Die Zeit»). — Семейные сцены, за которые приходилось бы краснеть, почти не случаются; *Mit den peinlichen Verrenkungen geben sie (Politiker) sich dann aber umso mehr der Lächerlichkeit preis* («Die Zeit»). — Судорожные телодвижения вызывают чувство неловкости и выставляют политиков на посмешище. Этот список можно продолжать до бесконечности. Не странно ли, что одно-единственное слово вызывает необходимость прибегать к переводческим трансформациям, поскольку не обнаруживает прямых эквивалентов, при том что щепетильность объявлена ключевой идеей русского языка?

Для практикующего переводчика такие явления обычны и вовсе не кажутся странными, поскольку он далек от идеологии. Но для лингвокультурологов подобные сопоставления проводить стоило бы, поскольку, видимо, только частотность непереводаемых контекстов способна поколебать уверенность в том, что «идеи», описываемые в качестве «ключевых», действительно «сквозные» и «уникальные» для определенной культуры.

Сомнения может посеять сравнение уже только с одним-единственным языком. А если сравнить русский с еще двумя-тремя? А с сотней?

Однако оказывается, все уже свершилось и необходимость дальнейших поисков и сравнений отпала. Вот что утверждается в книге «Ключевые идеи...»: «На сегодня состояние исследований в данной области таково, что можно говорить о реконструкции русской языковой картины мира в целостности» [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: 12]. Иными словами, «ключевые идеи» русской культуры обнаружены и описаны полностью — при помощи лексем *удаль, тоска, авось, обида, добро, благо, заодно, добираться, собираться* и некоторых других, которые перечисляются и анализируются на страницах этой книги.

Так ли это? Даже если рассматривать русский язык только со стороны фиксации в нем этностереотипов, книга содержит далеко не полную «русскую языковую картину мира». Например, авторы позабыли такие этностереотипы, как *на халяву, аврал,*

*наобум, шапками закидаем.* Можно было бы рассмотреть особое, интимное отношение русского человека к Богу, греху (на этих «концептах» покоятся столь многочисленные идиомы, что нет возможности открывать здесь их список), бережное отношение к юродивым и нищим духом (*юродивый, божий человек, кликушествовать*), интерес к волшебникам и волхвам (*знамение, знак свыше, откровение, старец*), а также искренность русского человека (*как на духу, правду-матку резать, говорить правду в глаза, правда глаза колет, рубить с плеча*), неспособность принаравливаться к порядку и регламентациям (*лихач, семь бед — один ответ, где наша не пропадала, эх, была — не была*), особое отношение к красоте (*пригожий, ладный, справный*) и интенсивность переживания прекрасного (*благодарить, благолепие*), необыкновенную русскую смекалку, а также *сноровку* и множество других «сквозных мотивов русской языковой картины мира», близких «русской душе».

Для полноты «русской языковой картины мира» можно было бы присовокупить и некоторые отрицательные характеристики среднестатистического «русского человека», например такие этностереотипы, как пьянство и особое к нему отношение (обилие слов и выражений на тему пьянства вынуждает не приводить здесь отдельных примеров), взяточничество (*нагреть руки, брать борзыми щенками, подмазать*) и вороватость (*стибрить, стянуть, слямзить, тянуть что плохо лежит*), а также завистливость (*черная зависть, глаза завидующие, наговаривать, оговаривать, хула, наветы*). Обнаружить этностереотипы довольно просто: все они так или иначе встречаются в школьной программе по русской литературе.

Реальный (а не декларируемый) метод российской лингвокультурологии заключается в анализе славянофильских высказываний русских писателей, философов и публицистов. Эти высказывания лингвокультурологи препарируют, снабжают некоторым количеством примеров из лексикона и выдают переработанные реминисценции националистически мыслящих литераторов за результат лингвистического анализа. Обнаружение культуры за языковыми знаками якобы чисто лингвистическим путем оборачивается замкнутым кругом повторений одного и того же, известного до всякого языкового анализа и напоминающего то ли ритуальные заклинания, то ли молитвы.

На вопрос, следует ли вступать в полемику с представителями идеологий, Оскар Райхман — германист, известный историк языка — пишет следующее:

*Лингвистике, которая занимается отношениями между языком и нацией, требуется субдисциплина под названием «критика»:*

критика языкового инвентаря и языковой системы, критика языковой нормы, критика употребления (узуса) и критика доменов. Последняя касается распределения языков: какой язык используется кем, когда, в какой ситуации, по отношению к кому? <...>

Важным предметом критики должны стать явно идеологические высказывания в виде якобы неопровержимых и объективных фактов; признаком намеренной объективации являются утверждения о том, что что-либо не подлежит сомнению, всем известно, вечно значимо, закреплено в культуре и обосновано в глубокой древности. Явные идеологемы такого рода риторически формулируются так, чтобы они казались очевидными даже неискушенному в лингвистике читателю. Естественность языка, его данность человеку природой, его вековая сохранность, его богоданность, его неповторимая, уникальная логичность и стройность — короче, все доблести, отличающие данный язык от любого другого <...>, — это идеологемы.

Критике должны быть подвергнуты взгляд на язык как на единообразную (гомогенную) систему — в противоположность гетерогенной, неединообразной, пестрой, разнородной, а также гипотазирование языка как исторически и социально постоянной (константной) сущности, описание языка в терминах картины мира: допущение языковой картины мира не что иное, как проекция и опредмечивание творящего начала (язык как деятельность) и неразрывно связанной с этим «национализации» [Reichmann 2000: 464–465] (перевод мой. — А.П.).

### Библиография

- Воробьев В.В. Лингвокультурология. Теория и методы. М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 1997.
- Гринкевич Ю.В. Восприятие пространства в русскоязычной и англоязычной культурах (на материале пространственно-геометрических концептов *круг* и *квадрат*): Автореф. дис. ... канд. культурологии. М., 2006.
- Двинянинова Г.С., Мусихина К.М. О месте концепта *more* в национальном самосознании англичан // Языковая личность: текст, словарь, образ мира: К 70-летию члена-корреспондента РАН Юрия Николаевича Караулова. М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2006. С. 28–39.
- Евсеева Л.Н. Роль языка в формировании национальной идентичности. Дис. ... канд. филос. наук. Архангельск, 2009.
- Жинкин Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопросы языкознания. 1964. № 6. С. 26–38.
- Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005.

- Келли К.* [Рец. на кн.:] Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира // Антропологический форум. 2007. № 6. С. 396–413.
- Маслова В.А.* Лингвокультурология: Учеб. пос. М.: Академия, 2001.
- Маслова В.А.* Универсальное и национальное в языковой картине мира // Русский язык в центре Европы (Банска Бистрица). 2005. № 8. С. 6–11.
- Мишенькина Е.В.* Национально-специфическая характеристика концепта «свет-цвет» в русской и английской лингвокультурной картине мира: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ярославль, 2006.
- Павленко Н.* Аспекты языковой картины мира в лингвокультурологии // Наукові записки. Сер. Филологічні науки. Вип. 89 (2). Кировоград, 2010. С. 57–60.
- Павлова А.В.* Об одном психолингвистическом аспекте непереводаемости при полисемии // Вестник Нижегородского гос. лингв. ун-та. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2007. Вып. 1: Проблемы теории, практики и дидактики перевода. С. 47–57.
- Павлова А., Безродный М.* Хитрушки и единорог: Образ русского языка от Ломоносова до Вежицкой // Toronto Slavic Quarterly. 2010. Vol. 31 <<http://www.utoronto.ca/tsq/31/bezrodny31.shtml>>.
- Серио П.* Оксюморон или недопонимание? Универсалистский релятивизм универсального естественного семантического мета-языка Анны Вежицкой // Политическая лингвистика. 2011. № 1 (35). С. 30–40.
- Слепушкина Е.В.* Фразеология русского и английского языков в зеркале национального менталитета (на материале концептов «предупреждение» и «угроза»): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Пятигорск, 2007.
- Тер-Минасова С.Г.* Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2000.
- Флакман А.А.* Немецкий язык как отражение ментальности его носителей: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Н. Новгород, 2005 <<http://31f.ru/author-abstract/page,5,92-avtoreferat-nemeckij-yazyk-kak-otrazhenie-mentalnosti-ego-nositelej.html>>.
- Черняк В.Д.* Лакуны в тезаурусе и культурная грамотность // Лакунарность в языке, картине мира, словаре и тексте. Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. пед. ун-та, 2009. С. 92–101.
- Чоудхури О.Л.* Номинативное поле концепта «зима» как предмет обучения русскому языку финских студентов: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2011.
- Шаховский В.И.* Эмоции. Долингвистика. Лингвистика. Лингвокультурология. М.: Либроком, 2009.
- Языковая картина мира и системная лексикография / Отв. ред. Ю.Д. Апресян. М.: Языки славянских культур, 2006.



- Baldauf E.* Zu einigen Aspekten des russischen Heimatbegriffs. Rodina bei A. Wierzbicka und in russischen kulturgeschichtlichen bzw. lexikografischen Untersuchungen // *Anzeiger für slavische Philologie* (Graz). 2006. Bd. 34. S. 23–40.
- Deutscher G.* Through the Language Glass. Why the World Looks Different in Other Languages. L.: Arrow Books, 2011.
- Eismann W.* Gibt es phraseologische Weltbilder? Nationales und Universales in der Phraseologie // *Wer A sagt, muss auch B sagen. Beiträge zur Phraseologie und Sprichwortforschung aus dem Westfälischen Arbeitskreis. Phraseologie und Parömiologie*. Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren, 2002. Bd. 9. S. 107–126.
- Gardt A.* Sprachnationalismus zwischen 1850 und 1945 // *Nation und Sprache. Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart* / Hrsg. von A. Gardt. Berlin; N.Y.: De Gruyter, 2000. S. 169–198.
- Gebert L.* Immagine linguistica del mondo e carattere nazionale nella lingua. A proposito di alcune recenti pubblicazioni // *Studi Slavistici* III. 2006. S. 217–243.
- Keijsper C.E.* Typically Russian // *Russian Linguistics*. 2004. No. 2. P. 189–226.
- Reichmann O.* Nationalsprache als Konzept der Sprachwissenschaft // *Nation und Sprache. Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart* / Hrsg. von A. Gardt. Berlin: De Gruyter, 2000. S. 419–470.
- Russell B.* Is There a God? // *Russell B. The Collected Papers of Bertrand Russell*. Vol. 11: Last Philosophical Testament, 1943–68 / Ed. by John G. Slater and Peter Köllner. L.: Routledge, 1997. P. 543–548.
- Schulte B.* East is East and West is West? Chinese Academia Goes Global // *Transnational Intellectual Networks. Forms of Academic Knowledge and the Search for Cultural Identities* / Ed. by Christophe Charle, Jürgen Schriewer, Peter Wagner. Frankfurt am Main: Campus-Verlag, 2004. S. 307–329.
- Sériot P.* Oxymore ou malentendu? Le relativisme universaliste de la meta-langue semantique naturelle universelle d'Anna Wierzbicka // *Cahiers Ferdinand de Saussure*. 2005. No. 57. P. 23–43.
- Stukenbrock A.* Sprachnationalismus. Sprachreflexion als Medium kollektiver Identitätsstiftung in Deutschland (1617–1945). Berlin: De Gruyter, 2005.
- Weiss D.* Zur linguistischer Analyse polnischer, russischer und deutscher “key words” bei Anna Wierzbicka: Kulturvergleich als Sprachvergleich // *Berührungslinien. Polnische Literatur und Sprache aus der Perspektive des deutsch-polnischen kulturellen Austauschs* / Hrsg. von M. Marzałek, A. Nagórko. Hildesheim, N.Y.: Olms-Weidmann, 2006. S. 233–256.
- Werlen I.* Sprachliche Relativität. Eine problemorientierte Einführung. Tübingen; Basel: Francke Verlag, 2002.
- Wierzbicka A.* Russian “National Character” and Russian Language: A Rejoinder to Mondry and J. Taylor // *Speaking of Emotions:*



Conceptualisation and Expression. Berlin; N.Y.: Mouton de Gruyter, 1998. S. 49–54.

*Zaretsky Ye.* Über einige ethnolinguistische Mythen (Am Beispiel des Russischen) // Acta Linguistica. 2008. Vol. 2. No. 2. S. 39–54.